

БРАТЯ БУЛГАКОВЫ



ПЕРЕПИСКА

ТОМ III

Александр Булгаков

**Братья Булгаковы. Том
3. Письма 1827–1834 гг.**

«Издательство Захаров»

2010

УДК 82-6
ББК 84Р1-4

Булгаков А. Я.

Братья Булгаковы. Том 3. Письма 1827–1834 гг. /
А. Я. Булгаков — «Издательство Захаров», 2010

ISBN 978-5-8159-0949-6

Текст взят из репринтного издания книги: Русские портреты XVIII и XIX веков. Издание великого князя Николая Михайловича Романова. В 5 томах. Т. Переписка. . – М.: «ТРИ ВЕКА ИСТОРИИ», 1999. – (Русская историческая библиотека).

УДК 82-6
ББК 84Р1-4

ISBN 978-5-8159-0949-6

© Булгаков А. Я., 2010
© Издательство Захаров, 2010

Содержание

1827 год	5
1828 год	27
1829 год	70
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Братья Булгаковы. Том 3

Переписка. Письма 1827—1834 гг.

1827 год

Александр. Москва, 1 января 1827 года

Проснувшись ранее обыкновенного, начинаю тобою. Как стукнуло 12 часов, поцеловал я Наташу за нее, а также за тебя и всех твоих. Будьте, мои любезные, все здоровы. Детям посылаю игрушку парижскую, обманку, о коей и в журналах писано было.

Бедная Сарачинская (дочь Кутузова, бывшая Кудашева) с годом кончила и жизнь, оставя множество детей. Вчера также хоронили графиню М.А.Толстую; везли ее мимо Фавста в Донской монастырь, и он сказывал, что похороны были великолепны.

Губернатор оренбургский Нелидов умер и оставил, кроме имения, 600 тысяч деньгами, кои, пишет Эссен, завещал Кириллу Нарышкину. Нашел, кому отдать, тогда как родная его сестра, вдова княгиня Голицына, по бедности живет в монастыре.

Благодарю тебя за костюмы турецких войск регулярных. Очень глупы и смешны, и понимаю, как они должны быть ненавистны народу, столь суеверному и привязанному ко всему старому, не только в одежде, но даже и к предрассудкам.

Александр. Москва, 3 января 1827 года

Вчера княгиня Зинаида забавляла своего сыночка¹. Много было смеху и фарсов. Я был в костюме капуцина и ужасно мучил приехавшего только что Петрушу Бутурлина. Вообрази, что в полночь въехали вдруг в залу (во втором этаже – NB) Дон Кихот и Санчо Панса, верхом на живых лошадях. И насмешили, и напугали всех. Никто еще не знает, кто это был. Сама княгиня прекрасно была одета Жанной д'Арк. Все были в масках, даже старухи.

Был я у графини Чернышевой. Она разрыдалась, увидев меня. Жаль несчастную эту мать! Муравьева² страшна, точно тень. Вчера должна была уехать в ссылку произвольную.

Александр. Москва, 8 января 1827 года

Вчера в «Семирамиде» пошел я в ложу к Юсупову. Старик тотчас начал поздравлением и прибавил, что никогда не бывал в Архиве, но теперь поедет непременно посмотреть, а между тем Малиновский всем рассказывает, что мне дали Шульцево место. При первой с ним встрече объясню ему, что ошибается, и вообще с этим поповичем поставлю себя на холодную ногу.

Не я один, вся Москва в восхищении от великой княгини Елены Павловны. Как мило то, что она изволила тебе сказать! Но как и справедливо! Очень для меня лестны слова государя. Дай Бог, чтобы никогда мысли царские не переменились, а мое дело – никогда ничем не давать к тому повода.

Вот и Метакса в горе: его княжна Голицына (племянница графини Ростопчиной), коей именем он управляет, постригла себя в монахини. Увезла туда 60 тысяч рублей, кои надобно через 7 лет выплатить из доходов, а там имение отдаст братьям своим. Вся эта семья помешалась на католичестве.

Александр. Москва, 11 января 1827 года

¹ Князя Александра Никитича Волконского.

² Александра Григорьевна, урожденная графиня Чернышева, поехала в Читку к своему ссыльному супругу Никите Михайловичу Муравьеву и повезла туда стихи Пушкина «Во глубине сибирских руд».

Фавст явился вчера в большом смущении. Что такое сделалось? «Чего, братец, дом мой в Слободе сгорел, да не весь!» – «Так ты об этом жалеешь?» – «А почему нет? Ведь его нанимает Демидов: по контракту должен мне заплатить 35 тысяч. Я бы не стал делать глупости, строиться так далеко, а лучше долги бы этими деньгами заплатил». Вышло, что сгорел только мезонин Плетешковского дворца³.

Демидов не хотел впустить полицию, говоря: «Пусть горит дом мой, а вы приехали только грабить». Частный пристав заметил ему, что не беда, ежели бы и все его дома сгорели, да зачем страдать соседям от его прихоти? Стало быть, отстояли дом против желания и Фавста, и Демидова. Однако же, ежели не исполнилось желание наемщика, то страх его оправдался, ибо у него украли в этот пожар богатый серебряный сервиз для завтрака. Фавст посылал своего архитектора освидетельствовать дом, а Демидов его прогнал, говоря: я исполню все по контракту, отделаю и сдам дом, как его принял. Уж подлинно, сошлись два чудака; только боюсь я, чтобы Демидов не попал наконец в Мамоновы. В прошлом году он своего управителя, молодого француза, изранил шпагой и убил было за то, что тот купил ему лошадей, кои понесли первый раз, что их заложили. Не всегда и богатство делает нас счастливыми.

Александр. Москва, 12 января 1827 года

Я тебе писал о странной бумаге Апраксина. Он просит у клуба 50 тысяч заимообразно, за кои дает себя порукою и берется выписать славную французскую труппу. Ему отвечали, что ежели она будет хороша, то между 600 членами, верно, многие охотно поедут слушать актеров; что же касается до 50 тысяч, то клуб на подобные издержки и спекуляции капиталов не имеет. Не может этот Апраксин жить без затей.

Александр. Москва, 17 января 1827 года

Ты пишешь об Уварове то, что мы знаем. Скажи, пожалуй, стоило ли труда заварить кашу, начать процесс, и от того только, что велено ему дать законный ход, посягнуть на себя⁴. Своим гнусным концом он завершает мнение, которое должно иметь об его нравственности. Жил, поступал дурно, а умер еще хуже.

Княгиня Зинаида сказывала мне вчера, что Риччи просит «Танкреда» отложить на несколько дней, будто для этого траура 9, или 12, или 20 дней не равно. Да главное то, что нет удостоверения в смерти Уварова: он исчез; это так, но мог и дать тягу куда-нибудь, сесть на корабль в Кронштадте; после года или двух можно ручаться, что он умер, а не после недели; тело его не найдено; Аменаида вместо пятницы будет отличаться в понедельник. Здесь все заняты были этой историей, но теперь заговорили о Татищеве Алекс. Ивановиче, отданном будто под суд и который сознался в страшных взятках по комиссариату. Сказывают, что вчера в клубе только и говорили, что об этом. Вот и Щербинин попался. Спасибо государю; конечно, трудно все злоупотребления вдруг искоренить, но такие примеры заставят бояться виновных и удержат распространение зла.

Вчера я опять Малиновского не застал, а Анна Петровна приняла меня только что не в передней и провожала также, радовалась, что мужу ее дан такой товарищ, и проч., ругала немилосердно графа Шереметева. Я слышал, будто Малиновского опять туго считают по больнице, что очень ему не нравится. Ну, брат, какой дом у Малиновского! Это дворец, огромные комнаты, и убрано хорошо. Дешево купили, за 60 тысяч, да, я чаю, дорого стал⁵.

³ Дом этот в Плетешковском переулке принадлежал позднее Дмитрию Фавстовичу Макеровскому.

⁴ Это был Уваров, женатый на сестре декабриста Лунина и затевавший тяжбу о незаконности его завещания, написанного раньше заговора.

⁵ Это дом на Мясницкой (некогда графа П.И.Панина, который из него отправился на Пугачева), позднее Липгарда. Анна Петровна – супруга А.Ф.Малиновского, урожденная Исленьева, родственница и воспитанница княгини Дашковой.

Александр. Москва, 18 января 1827 года

У Шепелева на балу сели ужинать, а мы с Фавстом дали тягу домой, мой милый друг. Я закурил трубку и, покуда курится, стану тебе писать. Бал был славный, но я не раз вспоминал Девонширского и тебя. Как мы тут ходили, ели, пировали! На молодого Шереметева скалили зубы и пялили глаза наши мамзели; но он только показался и, не танцевавши, уехал. Наши кумушки выдумали уже, что Шепелев для того и бал давал, чтобы дочь за него выдать. Можно подумать, что для сего один бал и надобен.

Этот Закревский, право, бесценный человек! Ржевская эта⁶ в нищете. Для нее этот пенсион, что он ей выходил, великое благодеяние.

Александр. Москва, 19 января 1827 года

Вчера был я в маскараде в Собрании, было весело и много разных масок. Одна между прочим меня мучила; должен быть мужчина, все говорил о тебе, что приехал из Петербурга, что имеет письмо о тебе, которое сегодня хотел ко мне привезти, знает всех нас и общество твоё хорошо. Много было также дам, но я узнать мог только княгиню Вяземскую и Зинаиду Волконскую. Я все сидел со стариком Юсуповым, который очень был весел и любезен. (Сегодня свадьба сына его.) Была пресмешная нянюшка старая, толстая такая, что насилу ходила, с нею ребеночек, в детском платье, ростом с графа Панина. Это очень было смешно.

Александр. Москва, 23 января 1827 года

Вы не только все здоровы, но и повеселились в Эрмитаже. Ежели даст Бог быть в Питере, то, я чаю, ключ отопрет и нам вход туда; а я не имею понятия, что такое эрмитажный спектакль, только желаю, чтобы дурно делалось актерам (ежели пьеса того требует), а не зрителям. Маркову [престарелому графу Аркадию Ивановичу] пора бы дома сидеть в шлафроке. А Уварова тела так и не нашли. Положение его жены странно: вдова и не вдова. Не приняли ли тело казначея за камергерское тело? Чего доброго, один другого стоит. Жаль, что не буду на свадьбе Криво-шапкина⁷; скажи ему, что я заочно на ней пляшу и желаю ему всякого благополучия и сыночка. Надеюсь, что все обошлось хорошо, не как у Юсупова. Бореньку посадили, повезли к венцу, у почтамта вспомнили, что уехали, забыв благословение отцовское; для этого надобно было, по требованию барынь (и весьма, впрочем, справедливому), воротиться. В церкви, как стали разменивать кольца, то невеста свое уронила, и оно закатилось так далеко, что никому в голову не приходило, так что искать надобно было очень долго; уверяют, будто и не нашли, а подсунули другое, чтобы сделать конец остановке. Иные говорят, что это очень худо для невесты, другие – для жениха, а третьи – что не годится для обоих. У необыкновенного жениха должны быть необыкновенные происшествия. Все говорят, что она была очень весела, а Боренька задумчив и нахмурен.

Александр. Москва, 26 января 1827 года

Вчерашний спектакль у княгини Зинаиды продолжался очень долго, почти до двух часов. Все было великолепно. Я уехал, так и не угадав слово шарады, но в восхищении от «Танкреда». Можно иметь голос красивее княгининого, но трудно лучше выразить мысль музыканта: она произносит и декламирует чудесно. Вместо того чтобы заниматься зрителями, что обычно случается с женщиной, когда она играет комедию, княгиня была вся в своей роли. Барбьер и был очень забавен в «Фанатике». Костюм уморительный, вместо шиньона, подвязанного лентой, у него была сзади маленькая скрипочка, подвешенная к парику, а его ночной колпак был барабаном. Акулова прекрасно спела, у нее красивый голос. Во второй пьесе Стальиини, очень смеш-

⁶ Племянница графа Каменского, которого Закревский считал своим благодетелем.

⁷ Этот Кривошапкин позднее управлял витебским имением братьев Булгаковых.

ной, Аллар был прелестен. Он представлял моряка, который только ругается да рассказывает о своих походах, а его все обманывают, чтобы принудить выдать дочь за молодого любовника, тогда как он обещал ее какому-то матросу. Мадам Дюмушель играла жену, Акулова – дочь, Мещерский – любовника, Ричча – субретку, а малютка Александр – слугу моряка. После была сценка из «Мещанина во дворянстве», где он берет урок, а после – второй акт из «Танкреда». О нем и говорить нечего, Риччи была прекрасна, так сильна, что ее и не сравнивали с Танкредом. Барбьери отменно сыграл Алжира. Молодой граф Михаил Бутурлин (только что приехавший из Флоренции, где, кажется, родился) исполнял маленькую роль Арбасана; у него красивый голос, и он прекрасно произносит по-итальянски. Все было отлично, но очень уж долго. Даже восхищению трудно длиться более шести часов кряду.

Меня восхищает милость государева и внимание его. Мог ли я льститься тем, что ему угодно будет вспомнить обо мне? Я постараюсь быть сколько можно полезным на этом месте. До сих пор я все наводняю визитами и поздравлениями архивских; не могу нахвалиться их ласкою, и будем жить, кажется, ладно. То самое не предвижу с Малиновским. Ох, дай Бог сил государю! Горячо за все принимается, были бы только хорошие сотрудники. Иные говорят: не искоренить зла! Почему нет? Уж то хорошо, что оно возрастать не будет.

Александр. Москва, 28 января 1827 года

Лунин уехал опять в Рязань к откупам; он очень согласен на мировую с Уваровой, но она должна утвердить завещание брата, тем более, что сим признает она, что он постановил и для нее самой. По поводу смерти. Вчера в большом новом театре был бенефис Синецкой, битком было набито; только вдруг в креслах повалился и умер некто Краснопольский. Сделался шум, полиция было унимать, но соседи покойника громко сказали: «Здесь умер человек!» Опустили среди пьесы занавес, пришли жандармы, потащили тело (что нелегко было сделать, ибо проход довольно тесен в креслах). После подняли занавес, и пьеса продолжалась, однако многие уехали, и Обресков долго возился с мертвым телом; не было ни человека, ни кареты – видно, отослал; не знали, где он живет. Умереть в театре – вещь незавидная, признаться.

Негри теперь от меня. Мамонов, катавшись, заехал вчера в его лавку, вышел, был там с полчаса, рассматривал все подробно, изъяснял нетерпение, что не было дома Негри, все его спрашивал и велел ему быть к себе завтра до обеда; но я велел ему просить согласия Маркуса и опекунов. Граф взял одну табакерку, любовался ею и положил ее в карман, сказав сыну Негри: «Надеюсь, вы мне сделаете кредит на эти 300 рублей, ибо вы знаете, что в моем распоряжении нет ни копейки, меня содержат под надзором, как узника; но ежели я вам не заплачу, то верну табакерку. Скажите Негри, чтоб пришел ко мне сим вечером или завтра утром, и что мне хочется посмотреть гравюры». Иные входили в лавку; граф не дичился и не убегал их.

Александр. Москва, 2 февраля 1827 года

Получа доверенность графини, я первым долгом почел быть у опекунов, долго толковал с велеречивым Арсеньевым. Он все оставляет опеку и радуется, что мне все сдаст. Не знаю, почему думает, что без воли государевой нельзя ему отойти. «Да ведь вы не по высочайшей воле назначены, указ не на лицо ваше; а воля государева была учредить только опеку, а вы уже избраны были дворянской опекою, так ею и уволены быть можете». – «Не думаю», – отвечал. А ежели так, то тем лучше. Г-да эти сенаторы ужасно важничают; а между тем идут в правители канцелярии и даже в управители. Завтра предъявляю опеке свою доверенность. Немного же у них в приходе: ломбардными билетами 59 тысяч, да наличными тысячи три, а расход невелик, кажется. После все это подробнее исследую. А граф опять баламутит: написал Негри предлинное письмо на четырех страницах, в коем говорит о мятежном правительстве, которое нами управляет, что Голицын шалопай, а опекуны бездельники и проч. Не бывать проку от него; но все хорошо, что он тих и что бешенство миновало.

Слава Богу, что государь к тебе милостив; но такому государю как не благоволить к усердным своим подданным? Князю Павлу Голицыну бью челом, а не забуду никогда ласки его и милой его жены, когда были мы с Волковым в Дрездене. Спроси у Сашки, уж полно – не влюблен ли он был в княгиню; а князь также и Фавстов приятель.

Меня все еще тормозят, все приезжают архивские на поклон. Вчера был племянник твоего князя [Александра Николаевича Голицына] рекомендоваться; бедный, так говорит, что едва его поймешь: рот обезображен. Не мог застрелиться, а женился-таки. Теперь приезжал граф Валериан Зубов, только не Александрович с того света, а сын его брата Николая; и этот служит в Архиве.

Вчера объявлено банкротство князя Михаила Петровича Голицына, по прозвищу Губан, на три миллиона с лишком. Многих пустит по миру. Его князь Сергей Михайлович берет на хлеба в дом к себе. Его не жалеют: дурак умел дойти до этого с 10 тысячами душ, из коих 7 продал. Жалеют о его трех побочных детях; сын уже майор, да две девицы; по несчастью, дано им было отличное воспитание; останутся на улице; странно, что эти Голицыны или скряги, или моты.

Александр. Москва, 7 февраля 1827 года

Все, что имеет нужду до опеки Мамонова, все ко мне хлынуло. Граф М.А. [Матвей Александрович Мамонов] вчера сочинил в стихах послание Богу; есть прекрасные строфы. Видно, читая оду «Бог» Державина, воспламенилось его воображение. Он спрашивал: кто опекуны? Сказал Зандрарт, что Арсеньев, Фонвизин и Булгаков. «Какой Булгаков? Тот ли, что был у меня не так давно?» – «Нет, это его брат, почт-директор». На что он расхохотался и прибавил: «Боже мой, как они глупы! Подопечный в Москве, а опекун в Петербурге». Он и прав. Пусть себе графиня переводит опеку к себе, ежели хочет, от чего, однако же, последует большая медленность во всем; но покуда, ежели хотят, чтобы все шло плавно, надобно и тебе дать мне доверенность действовать вместо тебя. Многие мелочные не кончено, потому что нет твоего разрешения и графининова. Последнее устроено теперь [то есть графиня Марья Александровна, сестра умоповрежденного, дала А.Я.Булгакову доверенность заниматься делами ее брата]; надобно бы и тебе развязать меня: это не помешает мне в случаях значащих отписываться и с тобою, и с нею, и требовать совета и разрешения.

Александр. Москва, 8 февраля 1827 года

Вчера проехал здесь Дибич. Он остановился в Москве только 8 часов и никого не видал, кроме князя И.А.Шаховского, коменданта и обер-полицеймейстера. Не знают, ни куда, а еще менее – зачем едет. Все полагают важную причину, да и кажется, что начальнику Главного штаба мудрено оставить столь важное место без важных причин.

Много делает шуму болезнь Степана Степановича Апраксина, который очень плох; и подлинно, в его лета не шутка нервическая горячка. Вчера он исповедовался и причащался и сам просил, чтобы его маслом соборовали, что он и исполнил ночью, нарочно, чтобы никто об этом не знал. У твоего петербургского соседа, Ланского, был вчера детский маскарад, на который мои, однако же, не попали, хотя и были званы; тут видел я С.А.Волкова. Он приехал от Апраксина, где он друг дома, а потому и сообщил мне достоверные подробности; он мне сказал, что Апраксин его не узнал и лежал как в забытьи в ужасном поту, что доктора признавали хорошим признаком. Он недавно был на ногах. Душевное огорчение его сразило: есть у него побочная дочь, которую выдал он за какого-то генерала, ныне пожалованного в генерал-майоры. Надобно сдавать полк, а при сдаче оказалось 120 тысяч недоимки. Степан Степанович желал спасти зятя от беды, но не было средства, ибо сам весь в долгу; нашла тоска, скопилась желчь, и он слег, отказывая лекарства. Старик-князь Ю.В.Долгоруков всех удивил. Хотя насилу сидит и скуп до бесконечности, велел себя везти к Апраксину, начал его утешать,

наконец ему выговаривает, что он, имея скорбь, оную от него скрыл; кончил тем, что положил ему на стол 120 тысяч.

Апраксину стало лучше тотчас, но так как было упущено несколько дней, то болезнь усилилась между тем. В консилиуме доктора иные отчаивались, а другие еще надеются. Не знаю, каков он сегодня утром. Пошлю спросить. Дочь Щербатову не пускают к нему, потому что она все плачет и расстраивает больного. Что более делает вреда больному, это видения; их было уже несколько у него, а последнее его поразило. Он не объясняется, но когда Волков ему заметил, что находит его лучше, то он отвечал таинственно: «Мне будет лучше, когда ты пришлешь спросить обо мне, и тебе скажут, что меня нет в доме». Впрочем, он очень тверд, дал разные отпускные и награждения людям, вчера велел себя перенести в другую комнату, говоря: «Не хочу тут умереть, а на постели». Послана эстафета к сыну в Петербург. Для жены его будет это большой удар. Она его любит чрезвычайно.

Другое приключение, занимающее Москву, есть следующее. Оно вроде того, что было с Зосимой, коего роль играет один известный скряга и богач, престрашный князь Гагарин, бывший в Коломне предводителем дворянским, а Севенисову роль взял на себя некто Ник. А. Норов, женатый на княжне Голицыной. Он подвернулся к этому Гагарину, начал рассказывать о старой истории, в то время замятой, то есть что этот старый хрыч засек мальчика. Норов начал его пугать, что дело это возобновляется будто и что один он, Норов, принадлежащий к тайной полиции, вновь учрежденной, может его спасти от беды. Стали торговаться; на первый случай кашей дал в 26 тысяч заемное письмо; только Норов опять явился просить денег, а между тем Гагарин так был напуган разными безымянными письмами, кои приносили ему почтальоны будто из Петербурга и кои все были составлены Норовым, что он согласился выдать ему в 250 тысяч ломбардный билет с надписью своею. Когда Норов явился за деньгами, то Кушников [сенатор Сергей Сергеевич], остерегаясь, велел узнать у Гагарина, точно ли он дал право на сии деньги Норову, на что получа ответ утвердительный, велел деньги выдать. Все бы тем и кончилось, Норов был доволен, и скряга также радовался, что, по словам Норова, избегал Сибири, заплатя только, может быть, двадцатую часть своей фортуны. На беду, Оболянинов [губернский предводитель московского дворянства], узнав об этой истории глухо, захотел все объяснить, поехал к Гагарину и начал его допрашивать. Были две очные ставки. Не знаю, чем это кончится; только Гагарин все твердит, что он волен в своих деньгах, может их дать кому хочет, что они у него не украдены, а дал он их Норову по дружбе. «Какая же тут дружба к человеку, – спрашивает Оболянинов, – коего вы два раза в жизнь вашу видели?» Норова требовали к Шульгину, но и он то же отвечает, что и напуганный Гагарин.

Я тебя попотчевал банкротством князя Михаила Петровича, но ваша Лобанова-Безбородко перещеголяла нашего Губана. Можно ли с 500 тысячами дохода привести себя в такое положение?

Александр. Москва, 9 февраля 1827 года

Апраксин скончался вчера в пятом часу пополудни. Когда я печатал к тебе письмо, то читали над ним отходную. Гуляя пешком, я зашел проведать и нашел в передней всех людей плачущих; ему тогда было уже очень худо. Вчера только и разговора было, что о сей смерти. Доктора уверяют, что главная болезнь была моральная и пораженное воображение. Степан Степанович давно уже иначе не ездил со двора, как с кем-нибудь в карете. Он имел два видения в разные эпохи жизни; второй раз старик, который ему представился, сказал, что в третий раз явится объявить ему о кончине, и подлинно, старец дней десять тому назад явился Апраксину для сдержания слова своего, и это чрезмерно испугало и встревожило больного. Хозяин дома умер, а за стеною пели итальянцы оперу; это бы ничего, но театр был набит приятелями покойного, иные почитали себя обязанными делать печальную рожу. Апраксин был, конечно, самый пустой человек, но в столицах такого рода люди нужны. Москва лишилась большого

дома, где всех принимали и часто забавляли. Нельзя не жалеть о бедной Катерине Владимировне, которая мужа очень любила и не приняла последнего его вздоха. Вчера послали эстафету с объявлением о кончине. Княгиня Зинаида должна была дать еще раз «Танкреда», но за сим печальным случаем спектакль отменен.

Александр. Москва, 11 февраля 1827 года

Ну, брат, настает прощание с Италией. Ох, жаль! А Кокошкин едет в Петербург за лентою, то есть везет, сказывают, с лишком 200 тысяч накопленных экономией своею денег. Это значит, что везде отрезывал он самонужнейшего содержания бедных актеров. Г-да эти всю пользу службы обращают на одно свое лицо. Все это толковал мне вчера Юсупов. Норов не арестован, но Шульгин сказывал, что он обо всем донес государю прямо.

Долго сидел у меня воронцовский Вигель и рассказывал о крае том. Он малый умный.

Александр. Москва, 12 февраля 1827 года

Ну, запрягла и меня также Наташа! Почти целое утро рыскал, и теперь отправляет с разными комиссиями. Княгиня Зинаида изъявила желание быть на нашем маскараде и привезти сына; очень будем рады, только, право, не знаю, где это все поместится. С двух часов гонят меня со двора, чтобы не мешал приуготовлениям. Поеду обедать в Английский клуб.

Удивляет меня тщеславие графа Маркова. Может ли оно идти за пределы гроба? 75 тысяч назначает на свои похороны! Какая глупость, малодушие! Лучше бы ему душой своею заняться, а после смерти какая нужда до тела (по крайней мере тому, кто умер)? И без того съедят черви.

Александр. Москва, 14 февраля 1827 года

Вчера был я на двух вечерах, мой милый и любезнейший друг; но подобает начинать сначала. Увы, расстались мы с итальянцами. Мы слышали вчера в последний раз «Семирамиду». Пели нельзя лучше на прощание. После начали вызывать; сперва вышли Анти, Тегиль и Този. Хлопали, кричали «браво», «счастливого пути» и т.п. Вызвали Перуцци, он был уже во фраке; его заставляли в опере два раза спеть арию его во втором акте. Потом вызвали Замбони, не игравшего даже в «Семирамиде», а там мадам Перуцци; долго ее ждали, ибо ложилась уже спать. Она, так как не кокетка, то явилась в дурном капотце, растрепанная, с зеленым платочком. Ей очень кричали и аплодировали. Когда я уехал, то вызывали суфлера, коего и труппа, и публика очень любят: он нам всем списывает все арии и любимые пьесы. Такой суфлер клад, ибо не только суфлирует слова, но бьет каданс и даже поет сам иной раз хористам при двери своей. Имея почти всего Россини, стану теперь мучить жену, чтобы все мне проигрывала, а то перезабудешь все. Я купил жизнь Россини, стану писать на нее свои замечания, ибо англичанин этот (имя в книге этой выдуманное) часто и неправду говорит. Оттуда поехал я к Зинаиде Волконской, где нашел маленькие танцы, а от нее – к Марье Ивановне Корсаковой, где нашел большие танцы. Бал был хоть куда. После ужина Софья Александровна [Волкова, супруга А.А.Волкова, дочь М.И.Корсаковой] и меня заставила танцевать. Сказывала, что получила от Сашки письмо, что он велит ей принять Попандопуло как можно получше и ласкать новую чету⁸. Скажи ты это эскулапу, о коем она и понятия не имеет. Я поехал с бала в три часа и оставил всех танцующими взапуски.

Ну, сударь, наш маскарадец очень удался. Было с 50 человек, а, право, не было ни жару, ни тесноты. Дети раза три переодевались. Зинаида мне сказывала, что давно и она, и сын ее так не веселились, ибо все было без претензии. Танцевать не переставали. Сначала дети были

⁸ Врач Константин Анастасьевич Попандопуло перед тем женился на двоюродной сестре Булгаковых Любови Андреевне Мартыновой.

в розовых домино, как донна Фиорелли в «Турке в Италии», Клавдинька и немка наша турками, а я, как Замбони, с Гваренгиевым носом; после Лелька была в костюме Реро (Гаццы-Ладры), а там крестьянкою швейцарскою, а Катя жидовкою. Обе они были прелестны, и все на празднике ими восхищались. Были Саковнины, Брокеры, Обресковы, Волконские, Хрущовы, Фавстовы дети, дочь Алек. Ник. Бахметева и проч. Ужин был славный. Негри нас уморил, был в костюме старой дамы в фижмах. Дети по сю пору в восхищении от этого праздника. В городе о нем говорят как о порядочном празднике, а вчера мне приходилось только принимать комплименты красоте детей наших. Кавалеры были все архивские и славно отличались: мазурки, французские контрдансы, вальсы – всего было довольно. Честь и слава Наташе, она одна все сделала; я, право, не вообразал, что так удастся.

Вяземский звал к себе уже на вечер. После ужина княгиня с Зинаидой Волконской едут в Калугу к жене Михаила Орлова [Екатерине Николаевне, урожд. Раевской, правнучке великого Ломоносова]. Что за мысль? А за другою Зинаидою, то есть Юсуповой, волочился Вяземский. Муж очень косился; он, кажется, ревнив; а за ужином возле нее уселся наш слепой князь Фарфанон Аморозович. Вот все, что знаю. Пора в Архив, где надобно привести к присяге Бартенева и быть при торгах на перестройку каменного худого флигеля.

Александр. Москва, 15 февраля 1827 года

Сегодня хоронили Апраксина. Все было очень великолепно, но не так-то много было на похоронах, как бывало на балах покойного. Так-то всегда бывает на сем свете!

Александр. Москва, 16 февраля 1827 года

Сегодня не думал ехать в Архив, но князь Юсупов просил меня сделать некоторую выправку царствования царя Алексея Михайловича. Нечего делать, надобно угодить старику, а в этот холод хотелось было посидеть дома.

Александр. Москва, 17 февраля 1827 года

Посылаю тебе бумагу, написанную наместнику Мамоновым после спора, который он имел с Зандрартом. Этот ему доказывал, что он никогда не получит свободы, ежели не будет повиноваться власти, всеми признаваемой. «Ступайте, – сказал он ему, – граф, в церковь к обедне; вы увидите, что повсюду молят Бога за императора Николая; он признан не только его подданными, но и всеми земными державами. Ваши права только у вас в воображении. Кто их поддерживает, кто признает? Никто! Вы один упорно держитесь за химеру. Что вы можете мне возразить?» – «Я вам отвечу письменно», – отвечал граф, сел и в минуту написал галиматью, которую тебе посылаю⁹; я сам списал это с подлинника, выставив все его поправки, как они в оригинале. Этот документ очень важен: он заключает в себе эссенцию Мамонова сумасшествия и может сильно опровергнуть мнение тех, кои утверждают, что он не помешан. Меня только то удивляет, что столь сильное помешательство на одном пункте не имеет никакого влияния на его умственные способности в рассуждении всех других предметов. Замечания, кои делает он на книги, кои читает, очень умны и основательны, например, на книгу Мирабо о Пруссии. Он очень много читает и пишет. Бильярд бросил совсем.

Александр. Москва, 19 февраля 1827 года

⁹ Этого приложения у нас не имеется. – Дмитриевы-Мамоновы действительно происходят от Рюрика, о чем, конечно, знал несчастный граф Матвей Александрович, в голове которого действовала и мысль о близости его родителя к царскому престолу. Он рано осиротел. И.И.Дмитриев (одного с ним родословия), будучи министром юстиции, назначил его, еще совсем юношу, в Московский Сенат прокурором, чем и возбуждено было его славолубие. Затем 1812 год и полк, набранный и содержимый на собственные средства.

Норов, коего знаешь и мой знакомый, – прекрасный малый; мы как сойдемся, все говорим об Сицилии; он написал, кажется, путешествие, которое намерен был напечатать, а тот Норов дядя его. Кстати сказать, о родственниках сего рода. Есть некто подполковник Протопопов, хорошо служивший в гренадерском корпусе. Шульгин, зная его там, переманил в полицию и сделал его частным приставом в Таганскую часть. У него молодая, прекрасная жена, дворянка, видно, шеголиха; только намерен в городе, в лавке одной, рассматривая да разговаривая, украла она кружев, материи и всякой всячины и все привешивала к поясу, который был для того нарочно устроен; большая шуба все это прикрывала. Не знаю как, только всю эту контрабанду обнаружили, и в минуту была она окружена ужасной толпою купцов и проходящих, кои начали плевать ей в глаза, ругать воровкою... Приехав домой, эта несчастная имела удар, язык отнялся, и теперь умирает; очень это весело для мужа! Экий срам!

Сегодня едет в свою Керчь Вигель, вчера вечером был у нас; очень приятный малый, и этот тебя превозносит до небес¹⁰.

Александр. Москва, 21 февраля 1827 года

Был у меня Зандрарт, долго сидел, толковал про Мамонова. Он опять свихнулся. Я писал тебе о пожаре, который так нас напугал. Поскольку Тверской совсем близко от забора (стены), ужас в доме графини¹¹ должен был быть, разумеется, куда большим. Зандрарт тотчас побежал вниз, находит графа в волнении. «Быстро сани!» – говорит он. «Зачем?» – «Хочу ехать на пожар». – «Но это далеко, за валом, г-н граф». – «Мне надобно туда ехать». – «Да зачем же?» – «А кто же будет командовать, ежели я не поеду, раз я главный фельдмаршал?» Тут начал ему Зандрарт выговаривать, что он выдает себя то за одно лицо, то за другое. Граф ему, наконец, сказал: «Вы сатана, надобно с этим покончить, берите саблю и будем биться; мы решим, кто я есть, ибо я Цезарь. Да, у меня все пороки Цезаря, но зато и все его добродетели». После чего принимается составлять портрет Цезаря, описывая все его беспутства и низости и прибавляя: «И я также...» Картина эта была столь грязна, что Зандрарт его оборвал, прибавив: «Раз так, то вы не поедете на пожар, ибо вы можете позволить себе там действия, кои я могу от вас претерпеть, но за кои на улице вас арестуют». Тот сдался на сии доводы, замолчал и спросил только дозволения спуститься на улицу, чтобы посмотреть на пожар, что ему и было дозволено.

Назавтра он был довольно покоен, но груб с Зандрартом. Этот дорого покупает хлеб свой. Он меня просит побывать сегодня у графа и умоляет сделать ему маленькое наставление. Никто, кроме Зандрарта, не говорит ему правды, поэтому граф может думать, что Зандрарт врет; надобно, чтобы другие еще подтвердили ему те же истины. Мои товарищи не хотят даже его видеть теперь, не только говорить с ним; поеду, попытаю, желая истинной его пользы и вывести его из его несчастного заблуждения. Завтра тебе напишу, что выйдет из этого. Литературные его занятия идут хорошо, много пишет и читает.

Александр. Москва, 22 февраля 1827 года

Учитель детей, чудаки Лоди, вчера умер крепко уверенным, что его отравила одна петербургская барыня, которая была ему должна и которой он писал, что принужден будет жаловаться государю. Я его навещал, бедного, и не мог его разуверить; но он плакал и благодарил, что я его навещал. Он, говорят, сын побочный славного корсиканского Паоли. Фавст имел с ним странное условие. Он давал ему только половину платы за уроки детские, но заплатил ему за год (или еще два, кажется) вперед, с тем условием также, что ежели Лоди не будет ездить аккуратно, то он, Фавст, вправе его бить. Долго Лоди не соглашался, но наконец решился.

¹⁰ Впоследствии, в «Записках» своих, Вигель отзывался о К.Я.Булгакове совсем иначе.

¹¹ То есть сестры графа Мамонова.

Ну, сударь, вчера был я у Мамонова и весьма длинную имел конференцию, в продолжение коей были основательные суждения, но и много вздору. Сперва был я у Зандрарта, который меня анонсировал. «Желаете ли спуститься, ваше сиятельство?» – «Охотно». Хочу я из передней идти далее, мне люди говорят: граф здесь. Я удивился видеть его тут у окна, курившего сигару. Подошел к нему, поклонился. «Что вам угодно?» – был первый вопрос. «Ваше сиятельство мне объявили, что посещения мои не будут вам противны». Видя неприличие с ним говорить в передней между лакеями, я прибавил: «Не угодно ли вам идти в те комнаты?» – «Это все равно», – отвечал он, но Зандрарт сказал: «Это недостойно вас и его превосходительства г-на Булгакова – беседовать с вами здесь». Тогда пошел он в гостиную. Слова «его превосходительства» его поразили и как будто были ему неприятны. «В каком же вы состоите чине?» – «Я действительный статский советник и в коронацию получил камергерское звание». – «Все это вздор, вы не можете быть действительным статским советником». – «Когда я вам говорю это, то вы можете мне верить; я служу 25 лет, и неудивительно, что я мог дослужиться до этого чина. Вы меня гораздо моложе сами, а генерал-майор». – «Я все и ничего», – отвечал он. Стал спиною к стене и начал, положив руки назад, качаться. Заметь, что мы оба кашляем. Я начал говорить о медиках, стал ему хвалить Маркуса. «Я ни в чем не нуждаюсь, – сказал он, – ни в Маркусе, ни в медицине, ни в ком; я себя чувствую преотлично». Тогда Зандрарт прибавил: «Да, граф, ваше физическое состояние превосходно, но мы говорим об умственном». Тогда граф отвечал с улыбкою: «Ах так? А вы тот мел, та высшая субстанция, которой надлежит вернуть мне мои умственные способности!» – «Я этого не говорил, г-н граф». А граф тотчас с насмешкою спросил меня: «В какой вы приехали карете, в четырехместной или двухместной?» Я усмехнулся сам и спросил, не хочет ли он, может быть, ехать прогуливаться со мною? «Я узник, – отвечал он, – содержащийся под надзором, мне все запрещено». – «Вовсе нет, вы выходите на воздух и могли бы пользоваться всей вашей свободою, ежели нельзя было бы опасаться, что вы ею злоупотребите; есть вещи, в коих вы упорно держитесь противоречия со всеми, это нехорошо и только бессмысленно продлевает для вас меры, кои мы вынуждены принимать». – «Почему вы не хотите открыться его превосходительству?» – спросил Зандрарт. – «Говорите с ним откровенно». Тут отвернулся он и, пойдя в залу большую, начал там ходить.

Я вошел туда также. Он опять поклонился, как будто не видел меня прежде, спросил, кто первый член в Архиве. «Малиновский, сенатор, а я второй». Тут вошел он в подробности о бумагах архивских, говоря: «Там должны храниться любопытные хартии», – а там опять, вспомнив, видно, мой чин, спросил цугом ли я езжу. «Это вывелось, – отвечал я, – даже и государь, и вся царская фамилия ездят в четыре лошади». Замолчал и вдруг прибавил: «Вы все утверждаете-таки, что вы генерал?» – «Я не генерал, ибо не служил в военной службе, а действительный статский советник. Зачем вас это удивляет? Мой младший брат – тайный советник; вы знаете, что он избран государем вашим опекуном. Я собираюсь ехать в Петербург, не угодно ли вам что-нибудь приказать?» – «Я, – отвечал он, – не хочу с вашим братом быть ни в письменных, ни в словесных, ни в каких сношениях». – «Послушайте, граф, с терпением: ежели уже решена необходимость опеки над вами и именем вашим, то не лучше ли, чтобы опекуном был человек честный, благородный и всем, даже государю, известный, как брат мой, нежели другой кто?»

Как я ни настоял, он все упорствовал в молчании и смотрел на меня пристально, а когда Зандрарт сказал: «Поговорите с его превосходительством, изложите ему ваши доводы откровенно», – то граф вдруг спросил: «Будете ли вы на дороге ночевать?» Меня это кольнуло, и я сказал ему: «Конечно, я ничего не сделал, чтобы заслужить вашу доверенность, но ежели бы вы знали меня короче, я смею ласкать себя мыслию, что вы иначе принимать стали бы мое предложение. Если вы меня судите слишком сурово, меня не зная, дайте мне, по крайней мере, какие-нибудь простые поручения в Петербурге. Разве у вас там нет знакомых? Так, значит, вы забыли, что у вас там сестра?» – «Говорят, будто у меня есть или была сестра». – «У вас есть

сестра, графиня Марья, она, по правде, часто болеет, и отчасти это из-за вас; я, разумеется, собираюсь навестить ее в Петербурге». – «Ежели вы ее увидите, я прошу вас *поцеловать* ее от моего имени». Но в словах сих было такое отсутствие всякого выражения, что я не сумел разгадать, произнес ли он их из любви или в насмешку; ибо чужой человек не может получить позволения, особливо от него, целовать его сестру.

Когда увижу Маркуса, то спрошу у него, не хорошо ли было бы, ежели б графиня написала письмо брату с благодарностью за то, что он ее помнит. Словом, я был первым, кто решился напомнить ему о существовании у него сестры, ибо Арсеньев утверждал: «Ему не надобно и напоминать о сестре, а то он взбесится». В другой раз поговорю с ним подробнее, ибо в этот раз он был в дурном настроении. Зандрарт говорит, что это оттого, что, когда обо мне объявили, он писал, и бросил перо, чтобы идти меня встречать, и, найдя меня в первой комнате, принялся болтать. Может быть, со временем он ко мне привыкнет. Было бы слишком долго пересказывать тебе всю нашу беседу, я сообщил только основные черты. Когда я у него спросил: «Не встревожил ли вас наемный пожар?» – «Меня ничто ни встревожить, ни испугать не может».

Я закончу одной особенностью, которая ничтожна сама по себе, но доставила мне случай вставить слово, которое, кажется, графа смутило. Окидывая взглядом залу, я сказал: «Сколько я веселился, видал танцев и пения слышал в этой зале! Здесь жил граф Чернышев». – «Какой Чернышев? Это что выдает себя за генерал-адъютанта?» – «Нет, не тот; но тот не выдает себя, а точно генерал-адъютант императора, а я говорю о графе Григории Ивановиче». – «Это обер-шенк, – отвечал граф, – а какой *присваивает* он себе чин?» – «Он не присваивает себе, а имеет точно чин действительного тайного советника». – «Где он теперь?» – «Он приехал из Петербурга». – «Зачем ездил туда?» – «Прощаться с сыном». – «Сын, верно, едет в Грузию?» – «Нет, он, по несчастью, осужден следственной комиссией за участие в некотором заговоре».

Граф стал часто посматривать на Зандрарта, а между тем спрашивать стал, какой имел чин Чернышев (и все его смешивал с генерал-адъютантом), против кого был заговор, на какое осужден наказание Чернышев, куда сослан, показывал довольный вид и вообще говорил с жаром, какого я не примечал в прежних разговорах. Ежели он подлинно был замешан серьезно в сем заговоре, как некоторые думают, то, верно, заметил бы я какое-нибудь смущение, а тут заметно было только любопытство знать все. Я, однако же, прервал разговор. «Оставим, – сказал я, – этих несчастных; надобно все это предать забвению, а буйным головам это уроком должно служить». Я говорил, что довольно хорошо играю в бильярд, предлагал сразиться когда-нибудь; граф отвечал: «Я не могу играть с вами, ибо только что в шар попадаю».

Надобно бы мне все это отписывать графине, но, право, недосуг сегодня. Прошу тебя, милый мой, прочитать все это графине и передать это прилагаемое при сем сообщение Зандрарта. Это подлинный козел отпущения, он дорого покупает свой хлеб, ибо граф обходится с ним либо презрительно, либо с крайней холодностью. Однако бывают минуты, когда он с ним мягок. Я же, милый мой, всегда буду говорить, что Маркус и Эвениус оказывают ему выдающиеся услуги; они привели больного в спокойное состояние, безумие его сосредоточилось в единственном пункте безмерной гордыни, от чего он никогда в жизни не вылечится. Навещу его еще раз и, поскольку объявил ему о своем праве, буду говорить с ним еще тверже в будущем. Графа одевали во все новое и опрятно, но он сказал, что бретельки его стесняют, галстук тоже, а также и сапоги, и что, будучи у себя дома, он может одеваться, как хочет; на это нечего было возразить, так что он вернулся к своему прежнему наряду.

Александр. Москва, 28 февраля 1827 года

Какое же сомнение, что Мамонов помешан? Графине посылаю я его стихотворения, о коих она меня просит; тут нет признаков сумасшествия, все плавно и хорошо; зато тебе посылаю бумаги совсем в другом роде. Не знаю, ей приятно ли читать их; не думаю; впрочем, остав-

ляю на твою волю, казать ей или нет. Я списал их с оригиналов. Первое. Ты помнишь пожар, о коем я тебе писал. Мамонов хотел непременно туда ехать, Зандрарт не позволил; граф, войдя в кабинет, написал протестацию. Полюбуйся титулами, кои себе присваивает; смешно, что ко всем сим почестям прибавляет он титул полицейского офицера. Второе. Разговор в Царстве Мертвых его доктора Маркуса с Марком-Аврелием, в кои жалуется он себя. Это очень замечательно, ибо он тут сознается, что он безумный и что Маркус ему грозит холодной ванной и велит связать ему руки. Этот диалог совершенно уморительный. Третье. Это беседа между Ангелом и Ангелом-Императором (опять он будто); не давали ли ему это имя в какой-нибудь ложе масонской или другом обществе? Он что-то часто называет себя ангелом. Покуда пишу тебе о нем, приходили уже трое требовать деньги по счетам графским. Право, срам, что заставляют кричать и жаловаться, тогда как деньги эти признаны законными, а деньги у Арсеньева лежат. Я жду только указ свой из опеки, чтобы напасть на моих товарищей.

Александр. Москва, 5 марта 1827 года

Лодер был у меня более часу вчера, рассказывал мне предлинную рацею, как он покойному государю подносил какую-то славную книгу медицинскую, над которой работает 20 лет и коей одни доски стоят ему более 10 тысяч; как он эту книгу огромную хотел царствующему императору поднести, как государь велел ему через твоего князя [то есть Александра Николаевича Голицына] написать, что желает, чтобы посвящение оставалось покойному государю, хотя сам и приемлет книгу, и проч. и проч. Да полно, не рассказывает ли он сам тебе в письме своем, здесь прилагаемом, всю эту историю? Дело в том, чтобы покончить с этим, что он просит тебя убедительно послать сии (распечатав их, найдешь книзу надпись в Лондон, как следует) отправить надлежащим образом в Лондон; тут доски или оригинальные рисунки, кои должны быть выгравированы в Лондоне. Возьми на себя этот труд.

Александр. Москва, 7 марта 1827 года

Побранил я молодого Соболевского, который осмелился сюда [то есть в Архив, где Булгаков начальствовал вместе с Малиновским] приехать в сюткуе. «Архив не постоянный двор, сударь». — «Но я думал, что вы сегодня не приедете». — «Да ведь речь не обо мне, вы должны иметь более почтения к портрету императора, который здесь висит, чем к моей особе; я вас скорее простил бы за приезд ко мне домой в сюткуе, чем сюда». Извинялся и сам почувствовал свою ошибку. Ему товарищи прежде уже говорили, что это не годится, но он не послушался, и потому я его не поберег, а то сказал бы ему то же, но с глазу на глаз. Надобно молодчиков проучивать.

Александр. Москва, 10 марта 1827 года

Ты, я думаю, помнишь молодого Свербеева, бывшего при швейцарской миссии с Крюднером; он только что женился на молодой княжне Щербатовой. Он занемог горячкою, и говорят, что болезнь берет дурной оборот.

Я оканчиваю письмо это в Архиве, куда сегодня и Малиновский явился: есть бумаги от графа [то есть от графа Нессельроде] и Блудова, по коим надобно рыться и сделать исполнение. Сенатор очень меня благодарил за старание твое о Егорове и предлагал мне взамен свои услуги, в чем ему можно будет.

Вяземский пишет мне узнать через Маркуса о состоянии Свербеева и прибавляет: «Сделай одолжение, напиши брату, чтобы он мне прислал через тебя книги, ему для меня из Дрездена от Жуковского и Тургенева присланные. Мне эти книги нужны по моим журнальным занятиям» [князь Вяземский в то время сотрудничал с Н.А.Полевым в издании «Московского Телеграфа»].

Александр. Москва, 11 марта 1827 года

Зима наша хоть куда, то есть новая. Мороз, и снегу более теперь, нежели когда-либо, а были дни такие весенние, что я поэта Пушкина видал на бульваре в одном фраке; но правда и то, что пылкое воображение стоит шубы.

Александр. Москва, 12 марта 1827 года

Вчера было совещание по делам князя Михаила Петровича Голицына; миллион 400 тысяч долгу обозначены на залогах, это все уплатится, а миллион 800 тысяч без обеспечения, этим достанется по 15 или 20 копеек на рубль. Голицын имел бесстыдство показать, что разорен был французами; ему доказали, что он после 12-го года продал имение на два миллиона почти; он отвечал, что сделал это для заплаты долгов. Как же, без особенных несчастий, долги не только не истребились или уменьшились, но вдвое возросли? Никто не понимает этой загадки, и думают, что он перевел капиталы в чужие края. С нашим Бравурою нехорошо он поступил; он у него просил 6300 рублей по 40 на сто на 4 месяца, а Бравура отвечал, что он не жид, а очень рад, что может князя ссудить сею суммою, взяв с него 6 процентов, и дал; теперь он, бедный, за свою честность должен терять свои деньги.

Александр. Москва, 16 марта 1827 года

Здесь слух, что в Париже умер князь Тюфякин. И не верится, скажет Губан Голицын, ибо этот обанкротившийся князек – наследник тюфякинского материнского имения, а оно составляет 2000 душ. Между тем его согнали из дому, и он живет у князя Сергея Михайловича Голицына, который определил ему по 2000 рублей в месяц пенсии. Это прекрасная черта со стороны князя Сергея. Пусть и говорят, что он богат, да ведь мог иначе употребить сии деньги. Другой бы затаил зло на князя Михаила, коего князь Сергей наследник.

Александр. Москва, 17 марта 1827 года

Не знаю, писал ли я тебе о странной ссоре, бывшей в клубе? Некто Шукин подает мнение, чтобы члены имели право не платить за целый ужин, а требовать только одного такого-то блюда и платить за одну только порцию. Против сего восстало большинство, и возражение писано было профессором Давыдовым. Слушая оное, профессор Каченовский был поражен слогом, спросил, кто писал, и узнает, что это Давыдов, друг его, с коим в университете они всегда одного мнения. Тут начал он ему выговаривать, что таил от него мнение свое, стал убеждать, чтобы отступился от оного; но Давыдов не согласился, и теперь два профессора, бывшие друзьями, поссорились за порцию кушанья. Этот вздорный спор вооружает одну часть Английского клуба против другой, как важное какое-нибудь дело, и вчера еще был большой шум, а в субботу станут баллотировать вздор этот, и я тебя этим вздором потчую, не имея ничего лучшего писать.

Александр. Москва, 18 марта 1827 года

Вяземский писал биографию графа Аркадия Ивановича Маркова и просил меня достать ему некоторые справки из Архива; надобно было рыться почти целое утро, но наконец исполнил его комиссию¹². Перебрал множество старых календарей и бумаг.

Александр. Москва, 23 марта 1827 года

¹² Когда пишущий эти строки служил в Архиве, директор оного князь М.А.Оболенский (племянник графа Маркова по матери) поручил ему заняться бумагами этого деятеля. Отсюда вышла биография графа А.И.Маркова, напечатанная в «Русской Беседе» 1857 года, то есть через 30 лет после статьи о нем князя П.А.Вяземского.

Вчера был у нас Малиновский и сидел более часу. Очень и он, и все жалеют о преждевременной кончине бедного Веневитинова. Прекрасный был молодой человек. Мать, рассказывают, в ужаснейшем положении. Княгиня Зинаида объявила ей о несчастий, ее постигшем. Незавидная комиссия! Все архивские товарищи, любившие очень покойника, плачут как о брате.

Александр. Москва, 29 марта 1827 года

Спор в клубе кончился, и не в твою пользу: ужин остался по-прежнему, порции одной требовать нельзя, кроме бутерброда, размазни и жаркого. Последнее, видно, тебе в угодность. Выбрали новых старшин, а именно: губернатора Безобразова, Ивана Ивановича Дмитриева, Масальского, Ивана Дмитриевича Нарышкина, князя Сергея Ал. Волконского, князя Павла Павловича Гагарина и Горяйнова. Были интриги для избрания некоего Гейера (бывшего любовника княгини Варвары Юрьевны Горчаковой), да не удалось.

Как скоро статья Вяземского о графе Маркове выйдет в «Телеграфе», я тебе сообщу. Желательно бы что-нибудь подробнее, но и это хорошо.

Видно, Дибич все дело сладил, что Паскевич едет оттуда, да и его самого сегодня ожидают в Москву. В Комиссариате и госпитале военном все приготовлено на показ ему.

И поэтому надобно полагать, что Долгоруков [князь Алексей Алексеевич, министр юстиции] у вас останется, что переводит сына из Архива в Коллегию. Все его товарищи сенатора крепко добиваются, что будет с ним; иные любят его, иные – нет, третьи, а может, и все – завидуют!

Скажи графине, что брат ее говееет, ездил к обедне в свой приход; все это хорошо, увидим, что будет, как дойдет до причастия. Духовник и прошлого года после исповеди объявил, что не может его допустить до причастия. Булгарин расписал в «Пчеле» своей концерт Шимановской довольно надуту. Вчера в клубе читал громко Вяземский, а Иван Иванович Дмитриев и Пушкин Александр смеялись, делая критические замечания.

Александр. Москва, 4 апреля 1827 года

Ну, брат, поездил я вчера с визитами; слушай и считай: у князя Дмитрия Владимировича, Филарета, Оболянинова, Корсакова, Чернышевых, Обресковых, Малиновского, Ростопчиной, Нарышкиной и Милашевичевой (которая не на шутку слегла), Курбатова, князя Сергея Михайловича Голицына, Юсупова, Арсеньева, Фонвизина, графа Мамонова (но не видал), Глебовой, Черткова, княгини Катерины Ал. Волконской, Л.А.Яковлева, тестя; кажется, все, да, кажется, и довольно.

Только в городе и разговору, что о Ермолове, с разными толками. Он имеет сильную партию, но ежели судить беспристрастно, не по прежней его репутации, то что же сделал он в 10 лет и страшными способами, которые были ему даны? А как было ему не предвидеть, не предупредить это дерзкое вторжение в наши пределы такого человека, каков Абас-Мирза? Я сужу, впрочем, как слепой. Всякий спрашивает, что с Ермоловым будет? Как не попал ни в Совет, ни в другие назначения, как не смягчено удаление его и проч.? Может быть, и было ему предложено; но он по нраву своему все отказал, предпочитая отставку. Иные говорят, что он здесь остается; другие – что купил уже дом где-то в Крыму. Слух здесь носится о войне с турками. Ты знаешь, что Москва не может жить без вестей и предположений.

Александр. Москва, 9 апреля 1827 года

Ну, брат, как обрадовал ты Волковых! Получив приказ, я тотчас к нему; нет дома ни его, ни славной женщины. Досадно! Сажусь, пишу записку и приказываю жандарму отыскать его, где бы ни был, а нельзя его, то Софью Александровну. Воротясь домой, Наташа говорит: «Иди на качели, они, разумеется, там». Я под Новинское, это недалеко. Первое лицо в толпе – Волков, в синем своем мундире. Я ну его целовать и поздравлять. «Милый мой, я не поверю,

пока приказ не увижу». – «Да брат пишет». – «Брат пишет; да кабы было верно, то прислал бы приказ». – «Экий ты неугомонный, ну вот тебе и приказ». Взял меня за руку. «Ну, пойдем искать жену», – искать, искать, – наконец видим идущую, летящую к нам славную женщину с радостной улыбкой. Я спрятался. «Милый друг, я должен объявить вам хорошую новость». – «Что такое?» – «Пашка – офицер». – «Вздор!» – «Право, вот читай записку Булгакова, мне ее привез жандарм сию минуту». – «Да вздор! Сколько раз нас обманывали, ведь приказа нет? Нет!» Уж тут я не стерпел: «Вынимай, варвар, жандармская душа, приказ; дай прочесть офицерской матери патент родимого сынка».

Оба, особенно Софья Александровна, были вне себя от радости. Тотчас схватили с улицы жандарма и отправили верхом к Марье Ивановне Корсаковой с приказом и поздравлениями, меня потащили насильно к себе обедать, и пили шампанское за здоровье господина офицера.

У тестя был пир на весь мир, как и всякий год; ты знаешь, что в пятницу бывает гулянье на Пречистенке. Я тут обрадовал также княгиню Долгорукову, которая не знала ничего о ленте мужа ее. О боже мой! Видел я тут, что это – свет! Это женщина (простая и тихая), с которой прежде и говорить никто не хотел; теперь все вились около нее, а сенатор Кашкин сбил было другого сенатора, Каверина, с ног, промчась мимо него, чтобы идти дать руку и вести за стол княгиню Долгорукову, потому что Оболянинов объявил, что его знакомый читал рескрипт государя к князю А.А. о бытии его на место Лобанова. Князь Дмитрий Владимирович меня спрашивает, правда ли это; я отвечал, что это дело бытовое, но что по последним письмам из Петербурга от 4-го этого еще не было, и что князь А.А. тебе сказал, что ждут просуху, чтобы ехать в Москву. «Я вас уверить смею, – сказал Оболянинов, – что Долгоруков министром и сюда не возвратится». – «А я думаю, – отвечал я ему, – что ежели князь и будет министром, то все-таки приедет в Москву, чтобы раз навсегда устроить свои дела». Весь этот вечер прошел в спорах за и против. Я желаю, чтобы это было для пользы службы, да и с князем А.А. был я всегда в хороших очень отношениях.

Александр. Москва, 12 апреля 1827 года

Кривцов и в Нижнем несдобровал. Его жена здесь и все не ехала. «Подожду, – сказала она Исленьевым, – того и гляди, что муж что-нибудь и тут напроказит, и его отставят»; так и вышло. Экий чудак! А все говорят, что человек честный и благонамеренный. Ты пишешь, что на его место вице-губернатор, но не говоришь, какой; видно, забыл ты прибавить слово *ваш*, ибо точно Храповицкий назначен в Нижний: ему пишет это генерал-адъютант и кузен Храповицкий. А наш бывший вице-губернатор взял дилижанс и скачет в Петербург отговариваться от губернаторства этого, желая быть в Орле или Смоленске.

Это, видно, Лиза Строганова выходит за Салтыкова; а я с другим его братом, что женат на княгини Горчаковой дочери, играл наемни в мушку у княгини Волконской. Какой он тщедушный! Зато она плотна и, вероятно, пойдет по матушке.

Александр. Москва, 13 апреля 1827 года

Волков¹³ разворачивает обширную деятельность и беспрестанно занят комиссиями, кои все стремятся к искоренению злоупотреблений и воровства. Недавно обыграли молодого Полторацкого [Сергея Дмитриевича], что женат на Киндяковой, на 700 тысяч рублей; тут потрудились Американец Толстой и Исленьев, а теперь известный разбойник Нащокин обидел какого-то молодого человека, коего увез играть в Серпухов. Как накажут путем одного из сих мерзавцев, то перестанут играть.

Александр. Москва, 19 апреля 1827 года

¹³ А.А. Волков был в Москве первым начальником незадолго перед тем учрежденного жандармского управления.

Моя жена как ребенок радуется. Ты помнишь, что старичок Нечаев, недавно умерший, оставил завещание; но оно так бестолково и противозаконно, что нельзя оно исполнить. Об имении будут долго спориться разные претендаторы. Между тем, в завещании сказано также было: Наталье Васильевне, ее превосходительству Булгаковой, – перстень. Это было ясно выражено; итак, г-н Полуденский, душеприказчик, просил меня зайти этим утром в Воспитательный дом; он принес мне шкатулку покойного, в коей находились все драгоценности, кои тот оставил, и дал мне выбрать из шестнадцати перстней (всех полученных от щедрот императрицы-матери) тот, что мне более всего понравится. Как в таком случае всегда самым красивым станет тот, что будет самым богатым, то я выбрал монстра, лишенного изящества, но оцененного Кабинетом в 4000 рублей. Он по-прежнему стоит более 3000. В нем изумруд посредине, а вокруг довольно большие бриллианты. Наташе очень понравился даровой конь, а потому и в зубы ему не смотрела, а надела на палец; полруки закрыто от перстня, и она ходит, как павлин. Это хорошо, но что еще лучше перстня, это то, что ей лучше да лучше самой: показался славный аппетит и цвет в лице.

Я получил пренежную записку от нежного Малиновского, который спрашивает, каково здоровье ее превосходительства Натальи Васильевны, и когда я еду? Я нашел *«ее превосходительство»* очень смешным в его устах. Ответ – что ее превосходительству лучше, а я скоро еду и приеду с ним проститься¹⁴.

Александр. Москва, 22 апреля 1827 года

Новосильцев сказывал мне, что есть указ Сенату судить Витберга, к которому приставлен часовой, а также и к Руничу, и трем другим, в комиссии сей заседающим. Никто о Витберге не жалеет; он был очень дерзок в обхождении своем со всеми. Сим теряет он право на участие и снисхождение.

На Кокошкина все косились. Он лишил публику удовольствия [то есть учреждения в Москве французского театра]. Вчера поутру был он у князя Дмитрия Владимировича; видно, оправдываться. Новосильцев доложил. «Скажите, что меня нет, скажите что хотите; не желаю видеть эту рожу», – отвечал князь. Новосильцев, выйдя из кабинета, пустил Кокошкину каламбур, сказав ему: «Князь видеть вас не может!»

Все на этом обеде наполнены были новостью, написанной Дегаю из Петербурга, что князь Дмитрий Иванович Лобанов болен и что наш Арсений правит его должность. Это было бы не секрет, и, верно, ты бы мне написал, тем более, что ты говоришь мне о Закревском в последнем письме твоём. Да и с какой стати Закревскому, который не переставал быть финляндским генерал-губернатором, занимать другое место? Все со мною спорили, я им позволял говорить. Тут нет ничего дурного для нашего общего приятеля.

Александр. Москва, 23 апреля 1827 года

Когда будешь писать доброму Каподистрии, ото всех нас поклон дружеский. Я отнял у Свербеева портрет его литографированный и довольно похожий, с простой надписью внизу: *«Каподистрия»*. Не знаю, есть ли он у тебя. По этому портрету – он очень состарился и похудел.

Намедни как я удивился! Иду с Фавстом пешком к Николевой; вижу – вдали идет к нам навстречу женщина одна-одинешенька, в вуали, без человека, разряжена. Фавст говорит: «Посмотри-ка – верно, это девка?» – «Нет, это, должно быть, иностранка», – отвечал я. Только как поравнялись, вышло, что это княгиня Зинаида, с коей я остановился и говорил. Фавст отчего-то не одобрил этого. Как можно, говорит он, ходить так одной! Ну, как нападет собака? Кому до чего, а Фавсту все до собак, как будто собака не может укусить и гренадера; опаснее

¹⁴ А.Я.Булгаков собирался к брату своему в Петербург, где и прожил довольно долго.

гораздо молодчики и хваты. Как схватит эдакий в объятья да станет целовать и к себе прижимать, так не прогневайся, Зинаида: у нее на лбу не написано, кто и что она.

Умер известный богач и скряга, князь П.И.Гагарин, тот, коего Норов обдул. Он оставил бездну денег и большое имение. Большая часть достанется князю И.А.Гагарину, что живет с Семеновой. Думают, что теперь он на ней женится и сим узаконит детей, коих от нее имеет. Теперь Гагарину придется возиться с Норовым. А старик умер, имея под головами ломбардные свои билеты. По уверениям иных, остается 3 миллиона денег, а другие говорят, что чистых только 750 тысяч, да на столько же векселей, из коих большая часть с залогами. Это годится, особенно многодетному князю Ивану Александровичу.

Александр. Москва, 27 апреля 1827 года

Покража у Полетики довольно странна, и кажется, вор должен отыскаться. А меня у Зинаиды как душил Волконский-заика: поймал меня на лестнице, да все провожал и держал полчаса, рассказывая. «Какая со мной беда, ты не слышал?» – «Нет!» (Хотел сказать «да», чтобы избавиться от длинной, скучной реляции.) – «Вообрази (я стану чрезмерно сокращать), вообрази, что ложусь спать, по обыкновению, сплю, просыпаюсь, иду в кабинет – ничего, иду в сад, гуляю, возвращаюсь в кабинет – ничего, иду к жене, завтракаю – ничего, возвращаюсь в кабинет – опять ничего, одеваюсь – хват! Что же? Вообрази себе – не нахожу своих часов и... двух полуимпериалов! Куда девались? Просто ук-ук-кккрали!» Насилу фатальное слово выговорил. Стоило труда так долго рассказывать? Я думал, что миллион пропал. Увидав тут Шульгина [московского обер-полицмейстера], я пожалел о нем, и подлинно, мой заика впился в него и не дал ему и «Танкреда» послушать. Ох, куда тяжел этот князек!

Вообрази, что старику-богачу Гагарину было 114 лет. Это видно по купчей, которую у него нашли. Какая-то тетка отказала ему имение, когда он был еще малолетний, шести лет, а акт написан в 1719 году. Каков же молодец! А на лицо глядя, нельзя было дать ему более 80. Нам, брат, до этого не дожить, но он целый век жил без забот.

Александр. Москва, 28 апреля 1827 года

Мамонову гораздо лучше: сам забрал Маркуса, который возвратил ему свободу, перья, бумагу и книги; очень желает скорее переехать на дачу. Вчера мы осматривали Васильевское с Фонвизиным, а сегодня он едет в Дубровицы, чтобы перевезти оттуда библиотеку; а то она совсем там сгниет, будучи в большой, холодной, сырой зале. Граф сам заговаривал о сестре своей, называя ее сестрою, а мне тогда говорил: «Говорят, будто у меня есть или была сестра». Совершенного излечения не надобно ожидать, это невозможно, но успехи очевидны: он все-таки в лучшем положении, нежели был. Арсеньев подал в отставку. Фонвизин без меня или другого опекуна порядочного оставаться не хочет. Я пересматривал все бумаги, касающиеся до управления имением, и могу тебя уверить, что хозяйственное, порядочнее и полезнее для опекаемого управлять имением невозможно. Время, впрочем, все это покажет, и ежели графиня не возьмется сама за управление (и бог знает, лучше ли будет тогда), то очень умно сделает, оставя все, как оно есть.

Александр. Москва, 2 мая 1827 года

Такого 1 мая никто не запомнит. Точно лето! Я на своем термометре в тени после обеда видел 21 градус теплоты. Гулянье было прелестнейшее, только пыль ужасная. Я ездил один с детьми; нас затащил к себе в палатку Шепелев, у коего был весь бомонд. Он познакомил своих дочерей с моими. Потчевание было превеликолепное, только как мало хороших экипажей! То ли бывало в старину! Слова эти доказывают, что и я становлюсь стар, ибо молодые не в праве говорить о том, чего не видали. Заметил я также то, что много было безобразных костюмов, особенно мужских; также посмеялись мы и над щеголихами. Я так устал от зевания и пыли, что

в одиннадцатом часу лег спать, прогнав Попандопуло с женой, а они было приехали на вечер, но в это воскресенье не было у нас ничего. И эскулап [то есть доктор Константин Анастасьевич Попандопуло] также катал свою чету в коляске.

Есть прекрасный молодой человек Бахметев, сын заводчика хрустального Николая Алексеевича, а он сам Алексей Николаевич [кончивший жизнь попечителем Московского учебного округа] и был адъютантом графа П.А.Толстого, едет лечиться в чужие края. Я хотел его ввести к тебе в дом, но боюсь, чтобы он не уехал, не дождавшись меня, а потому и пошлю ему рекомендательные письма: первое – к тебе, а второе – к приятелям моим в чужих краях. Он прекрасный молодой человек и один сын у богатого отца.

Александр. Москва, 3 мая 1827 года

Я получил твои несколько строк о назначении Долгорукова и отставке князя Якова Ивановича. О последнем сказал я его племяннику, бывшему губернатору рязанскому. Он обрадовался и прибавил: «Давно этого хотелось дядюшке, теперь он приедет в Москву и здесь поселится, а мы станем его обыгрывать в бильярд». Много было споров о Долгорукове, что будет и не будет. Волков мне сказывал, что князю Дмитрию Ивановичу не хотелось его иметь товарищем, а Долгорукову не хотелось быть на одном ряду с Блудовым и Дашковым; видно, все это согласилось. Здесь в Сенате много наделает это шуму.

В Клину, в деревне, мужики убили своего помещика, какого-то князя Сергея Михайловича Оболенского; предводитель, воротившийся со следствия, сказывал мне, что все мужики плачут, называя его отцом своим, а сделал все это бурмистр, и вышло все за какую-то девку, по ревности. Несчастный князь не скоро умер и мучился несколько времени.

Александр. Москва, 4 мая 1827 года

Юсупов возится все с комиссией, бывшей в руках у Витберга; только все его чиновники отказываются. Однако же Геденову вверено управление имениями, купленными в казну для храма, князю Цицианову – деньги и материалы, прочее еще не распределено. Немало будет тут работы.

Князя Андрея Петровича Оболенского дочь, что за Волковым Николаем Аполлоновичем, очень больна, так что послали за отцом в подмосковную. Она всегда была слабенькая и тщедушная.

Александр. Москва, 5 мая 1827 года

Ты мне не писал ничего о Костакиевой истории с Сушковым¹⁵. Куда как эта фамилия несчастлива, и как часто достаются ей оплеухи! Старик Варлам уже очень стар, а более хил, нежели стар. Сын его все еще при Воронцове или нет? Жаль, ежели лишится своей виною столь прекрасного начальника. Ты сделал для всех членов этой семьи все, что смертному только возможно.

Не имея, о чем тебе говорить, сообщу смешной анекдот, случившийся 1 мая на гулянье. Юсупов пошел в лесок, взяв с собою Савельича, наряженного в глазетовый кафтан и распудренного. Возвращаясь оттуда, встречают они какую-то женщину, мещанку или купчиху. Юсупов ей говорит: «Ударь его (Савельича) в щеку, я дам тебе целковый!» – «Ах, батюшка, как я смею, ваше превосходительство». – «Да ведь это шут Иван Савельич!» – «Ах, батюшка, да вы меня обманываете; целковый бы мне и годился, да это, я чаю, барин, как вы: вишь, у него золотой кафтан». А Савельич ей в ответ: «И, ма шер, что ты его слушаешь, он все врет; я – князь Юсупов, меня все знают, а ты лучше его (указывая на Юсупова) ударь, так я тебе дам

¹⁵ Н.В.Сушков убил на поединке Константина (Костаку) Варлама, брата жены К.Я.Булгакова.

три целковых». Видно, Савельича голос более ее убедил, потому что она чуть было не заехала старого татарского князя по шее.

Александр. Москва, 9 мая 1827 года

Я все вожусь со швейцарами. Приходил умирающий с голоду швейцар покойного графа Ростопчина: пятеро детей, жена четыре года больна, места лишился, просится хоть в дворники; жаль бедного! Графиня съехала с Лубянского дома, наняла дом Караса за Масальским в переулке, а тому дому станут делать опись, по коей Брокер должен за все ответствовать. Много она накутерьмила, и конец ее будет незавидный. Она попала в руки к Крюкову, или, лучше, Крюковой, заявленной бестии (хотя она и теща Лонгинова), граф Федор Васильевич в дом ее не пускал. Графине вбили в голову скупать векселя графа Сергея Федоровича. Я знаю, что одному моему знакомому отдавали в 60 тысяч вексель, данный Ростопчиным Сабурову, за 3000 рублей, а теперь графиню заставили купить этот вексель за 14 тысяч. Ей кажется, это находка, а это спекуляция только для советчиков ее. Мне сказывал предводитель Вырубов, что с тех пор, что существует опека, не выдано еще таких удовлетворительных отчетов, как те, что подал Брокер об управлении своим имением малолетнего. Такого порядка и соблюдения пользы малолетнего не видали мы, говорит он, ни от одного отца или матерей, не только от неродственного опекуна.

Вчера подходит ко мне в клубе некто Хомяков, коего знаю только с виду, и говорит, что имеет долг благодарить меня за твою ласку, и что ты, зная его мало, способствовал его помещению, кажется, за обер-прокурорский стол. Человек, кажется, порядочный, и тесть мне его хвалил. В клубе нашел я также неожиданного хромого Кривцова. Я и не спросил, здесь ли он думает поселиться.

Александр. Москва, 16 мая 1827 года

Вчера купил я славный телескоп у Пристлея для Мамонова. Он ведет себя нельзя лучше, обрил усы, уменьшил бакенбарды, одевается опрятно, очень учтив. Одним словом,

Маркус так им доволен, что на днях будем у него обедать, и даже хочет, чтобы Наташа поехала туда с детьми; но я прежде желаю знать от графа самого, не будет ли это ему неприятно. Арсеньев отошел решительно, вчера сдал он мне все книги, счета и деньги, коих всего-навсего тысяч одиннадцать, семь ломбардными билетами, а остальное деньгами. Было до 60 тысяч, но уплатили все долги графские; теперь не должен он ни гроша. Арсеньев пустой человек, с Фонвизиним лучше можно ладить. Только, все-таки, признаюсь тебе, что неприятно мне брать хлопоты на себя, без малейшей пользы для себя. Делаю это, любя графиню, а буду ее просить меня уволить. Жаль, если не будет кто-нибудь серьезно заниматься особою брата ее. Я все одного мнения, что вылечить его нельзя, но можно очень облегчить участь его. Перевод опеки в Петербург для меня непонятен; граф здесь, имения около Москвы, сама графиня сюда же собирается и на житье. Все это объяснится, когда буду с вами.

Александр. Москва, 19 мая 1827 года

Волков возвратился из Вязьмы, очень доволен, весел и здоров. В субботу имел он счастье обедать у государя. Император очень был доволен войсками, а они все в восхищении от царя своего. Великий князь все Москву хвалит. «Сделай мне одолжение, – сказал он Волкову, – упроси князя Голицына, чтобы он взял меня к себе в частные приставы». – «Потише, – отвечал Волков, – извольте-ка, ваше высочество, прежде послужить хожалым или, по крайней мере, квартальным надзирателем». Михаил Павлович очень этому смеялся. Ничего особенного не было в Вязьме. Дибич вступает в свою старую должность, а граф П. А. Толстой собирается завернуть в Москву. Бедный Сухожанет упал с лошади и вывихнул себе спину, ужасно мучился, но было лучше, как Волков уезжал. В Вязьму поехала бездна народу из окрестностей и много очень дам. Волков сказывал мне под секретом, что государь изволил писать Аракчееву, что

воля его величества есть, чтобы он взял свои меры не находиться никогда там, где изволит быть государь, и избегать с ним всякую встречу. Надобно думать, что это последствие какого-нибудь письма или домогательства Аракчеева видеть государя.

Александр. Москва, 20 мая 1827 года

Зандрарт вчера у меня был. Кажется, что у графа начало горячки; вчера был жар сильный, и он из комнаты не выходил. Его отец духовный был очень доволен беседою с ним. И ему граф говорил, что чувствует в себе перемену, что ему кажется, что у него была белая горячка, что он желал бы видеть людей, опять войти в общество, а когда священник стал его к этому ободрять, то он сделал следующий достопамятный ответ: «Как мне быть опять с людьми? Я их от себя отвратил холодным своим обращением и чрезмерною гордостью». Удивителен этот переход от прежних его понятий и мечтаний к такому признанию. Теперь он говорит даже об опеке, находя, что она была необходима и что он не мог ничем заниматься; Зандрарта ласкает, часто его спрашивает, говорил ему обо мне, и Зандрарт воспользовался случаем, чтобы ему сказать, что я заступил место Арсеньева. Граф спросил: «Почему же г-н Булгаков не приходит ко мне обедать?»

Что-то скажет ужо Маркус? Да надобно теперь спросить у него, не хорошо ли бы было графине написать брату письмо ласковое. И это может иметь хорошее влияние на возникающую его чувствительность.

Александр. Москва, 24 мая 1827 года

Наконец явился наш любезный сенатор-ревизор-вояжер. Очень я обрадовался Полетике, мой милый друг. Вчера прихожу вечером к Волкову, к коему привезли его. Софья Александровна, увидев меня, взяла за руку и тащит в спальную: посмотри-ка, кого я вам представлю! Гляжу – сидит мой малютка, а он было ко мне собирался оттуда. Сели мы и проболтали до часу. Все такой же оригинал.

Александр. Москва, 25 мая 1827 года

Полетика мне вскружил голову, отнял меня от своих здесь и от тебя, мой милый и любезный друг: все вожусь с ним и именно тебя любя. Конечно, приятно мне к тебе писать, но еще приятнее было и говорить о тебе с человеком, который тебя всякий день видал и пользовался твоей дружбою. Право, не наговорюсь с ним. Вчера были мы с ним целый день: ходили пешком, были с визитами у Потоцкого, Дмитриева, Зинаиды [Волконской], князя Дмитрия Владимировича, Рушковского (этот показывал ему все экспедиции, так что в почтамте приняли сенатора нашего почти за ревизора), ездили по лавкам, лазили на Ивана Великого. Обедали у меня добрые все люди: Волков, Фавст, Новосильцев, тесть. Метакса готовил ризи [итальянское кушанье], в беседке курили трубки, говорили, спорили, к вечеру ходили по бульвару. Он захотел рано лечь спать. Сегодня смотрим Оружейную и все в Кремле, обедаем в клубе, ввечеру в Большом театре, покажем ему «Ричарда» и балеты, завтра покажу ему свою команду, Архив, а там у Фавста обед. Вот как мы нашего дорогого гостя тормозим, и он очень рад. Полетикин приезд доставил мне большую отраду и утешил меня несколько от отсрочки поездки к вам.

Ну, брат, большую весть тебе сообщаю; вчера явился вдруг Мамонов к нам. Наташа храбро и ласково его приняла; меня не было дома. Он был очень мил, хорошо обошелся с Наташей и детьми, особенно с Ольгой, которая около него ухаживала. Я уверен, что он будет к нам ездить, ибо ему не показали ни малейшего страха, а обошлись с ним просто, как бы со всяким другим. Говорено о многом, он любовался очень Фавстовой Богородицей Брогелевой и о многом говорил; сказал, что будет опять, и звал жену и детей к себе в Васильевское. Я описываю все подробнее графине; чтобы не повторяться, прочти мое письмо к ней, запечатай и отдай ей. Как ни было все хорошо, но все-таки видно сумасшедшего человека (этого

не пишу я сестре его): как подали завтракать, то Мамонов взял руками кусок телятины, рвал его пальцами, обмакивал в горчицицу и ел также руками; жена говорит, что тут было что-то не человеческое, а львиное. Сестры чему-то постороннему засмеялись между собой, он на них посмотрел злобно (не подумал ли, что над ним смеются?), они нимало не сконфузились, продолжали смеяться и громче заговорили, тогда и он стал улыбаться. Нет сомнения, что он лучше, нежели был, гораздо; но на совершенное его излечение я несколько не рассчитываю.

Александр. Москва, 13 июня 1827 года

Вчера был я все утро у Мамонова и, право, очень был доволен им. Мне кажется, что он начинает ко мне привыкать. Все эти дни спрашивал обо мне Зандрарта и говорил, что я давно у него не был; вчера хотел, чтобы я непременно остался с ним обедать, я извинился, что меня будут дома ждать, он предложил послать человека верхом сказать Наташе; но я поблагодарил и обещал завтра у него обедать, если время будет хорошо. Я не знаю, о чем не было у нас речи; даже были рассуждения о *сумасшедших*. Он заговорил о Бернадоте, а там о шведском короле, полковнике Густавсоне. Я ему рассказал об его образе жизни в Лейпциге, и что он проедает по шесть грошей в день. «На это, – сказал Зандрарт, – нельзя и крестьянина прокормить». Граф улыбнулся и возразил: «Ваше рассуждение неверно; крестьянину надобно гораздо более, нежели королю». – «Не понимаю, граф, почему?» – «Почему! Как почему? – отвечал граф, улыбаясь. – Потому что у крестьянина, который трудится в поте лица своего полдня на свежем воздухе, аппетит всегда больше, чем у короля-бездельника!» Это хоть и не сумасшедшему сказать. Потом требовал у меня истолкования весьма подробного, почему я почитал Густава не совсем в уме своем, и признаюсь, что часто делал мне возражения, которые приводили меня в затруднение. Говорили о шарах аэростатических, о Жуковском, о Наполеоне, о 1812 годе, о Риме, папах, о египетской кампании англичан и французов, о чуме и проч. и проч. Я тебя уверяю, что я провел приятно три часа и не еду к нему, как прежде, с отвращением.

Александр. Москва, 22 июня 1827 года

Волков в мае просил у меня коротенькую записку о болезни графа, его действиях, упражнениях и проч. Я ему составил маленькую заметку. Бенкендорф ее показывал государю, который изволил ее взять к себе, приказав от времени до времени извещать его подобными записками, что с Мамоновым происходит. При хороших переменах, последовавших в здоровье его с переезда его в Васильевское, я счел нужным сделать теперь новую такую заметку. Она Волкову очень понравилась, и он отправляет ее в Петербург. И подлинно, любопытно было видеть, как обошелся во дворце, в Оружейной, видя царские украшения, корону, трон и проч., человек, мечтавший, что он император, уступающий одной силе незаконного правительства, человек, приговаривавший письменно князя Дмитрия Владимировича и коменданта то к виселице, то к палочным побоям. Все это обошлось нельзя лучше, и ежели обошелся он неучтиво с Юсуповым, то этот сам виноват: зачем было ему приходить со всей своей свитой в Оружейную? Когда я стал графу выговаривать после в коляске, что он не обласкал Юсупова, то он отвечал: «Он пришел поглазеть на меня как на диковинку». Последний раз Мамонов, говоря со мною о Мавре Ивановне, которую знавал, спрашивал даже о дочери ее Елизавете Васильевне и князе Сергее Ивановиче, где он служит, и проч. Он начинал говорить о графине, но переменял разговор. Теперь напишу ему и пошлю книги, потому что он не раз говорил Зандрарту: «Почему это Булгаков пишет все только вам, и никогда – мне?»

Александр. Семердино, 12 июля 1827 года

Благодарю тебя за сообщение касательно Каподистрии. Я не щеголяю болтливостью, ты это сам знаешь, и тайну верно сохраняю, ежели бы и в городе был, а здесь с кем говорить, кому делать доверенность? Развязку эту можно было предвидеть. Что меня радует, это то, что все

делается с одобрения императора, который может только отдать справедливость чувствам, кои направляют нашего добрейшего друга. Он выйдет из сего ложного, неприятного положения, в коем пребывал на протяжении стольких лет. Он не был свободен от России и не принадлежал своей родине. Не говоря уж о его уме и талантах, одно его имя придаст другой оборот греческим делам. Он может обессмертить свое имя в истории. Да сохранит его Бог и да защитит превосходное дело, к которому он примкнет! Я вижу впереди только доброе; но жена моя, не найдя, что сказать, опасается, как бы какой-нибудь недоброжелатель или подкупленный негодяй его не отравил¹⁶. Эта мысль преследовала ее все утро. Ожидать буду указа с нетерпением. Право, будь я холостой, я бы последовал за добрым этим человеком и стал бы ему помогать по силам моим. Я чувствую, что меня гречанка выкормила – не по ненависти к туркам, но по любви к грекам.

Александр. Троиц-Сергиев Посад, 22 июля 1827 года

Меня поразило известие о жалкой кончине Костаки; вишь, судьба его какова была: один раз разлучили с соперником, а дуэли таки не избежал. Жаль несчастного, слепого отца! Дико¹⁷ так весел, доволен, что я не могу решиться его огорчить. Я ему только намекнул, что Сушков поехал в Тирасполь искать его брата, чтобы драться на пистолетах, что говорят даже, что и дрались, но неизвестны последствия. «Этот каналья Сушков, – отвечал Дико, – верно, все это время учился стрелять», на что я сказал: «Боже сохрани, а долго ли до несчастья!» Дико был целое утро задумчив, теперь опять весел по-прежнему. Я ему скажу о несчастий на Петербургской дороге; более будет тут рассеянности для него.

Александр. Москва, 28 июля 1827 года

Вчера так я затормошился, что тебе не писал вовсе, милый и любезный друг, да и был я очень не в духе и опять было занемог, по милости Мамоновой и ее братца. Вот тебе ее письмо и мой ответ; прочитай, запечатай и тотчас ей доставь. По его приглашению ко мне и Фонвизину, поехали мы к сумасшедшему, где были более трех часов; принял славно, ласково, особенно меня, только когда я назвал слово «государь», то он взбесился, говоря: «При мне не называйте никогда и не упоминайте о государе». Я не оставил это без возражения, и пошла потеха; но только я вижу, что, скаля зубы Мамонову, можно его и уговорить. Он успокоился, потом изложил многие жалобы, более вздорные и неосновательные, нежели важные, говорил о делах преосновательно, желал иметь отчеты, очень был доволен тем, что могли мы ему сказать в общих чертах. Он меня почитал поверенным твоим, а не сестры, ее не ругал, но сухо говорил о ней и сказал: «Она не наследница после меня, потому что я могу еще иметь детей». Я тебе все это подробно расскажу. Не мог я равнодушно говорить с ним и, будучи уже слаб, домой приехал изнурен, с маленькой лихорадкой; сегодня мне обметало губы, стало быть, проходит.

¹⁶ Женское предчувствие!

¹⁷ Кто этот Лико? Не брат ли убиенного Варлама и Марии Константиновны Булгаковой?

1828 год

Александр. Померанье, 12 марта 1828 года

Не знаю, где наткнулся на почту, но начинаю письмо это в Померанье, любезнейший брат. Костя [старший сын А.Я.Булгакова, обучавшийся в Царскосельском лицее] вызвался тебе писать из Царского Села. Вот две горестные для меня разлуки, особенно же петербургская. Я было привык жить с тобой и видеть тебя целый день, но не ропщу, а желаю только, чтобы чаще это повторялось. Жалею о тех, кои не в такой легкой повозке, как я: на дороге навоз, а где и земля голая, и снега почти нет; еду, однако же, хорошо. Выехав из Царского в шесть часов, я в полночь сюда прибыл. Кибитка очень покойна; я в ней и сидеть могу хорошо, и спать. Россини все спит; это бы ничего, да на моем плече, а как разбуду и стану урезонивать, то уверяет: вам это кажется. Ох, досадно!

Я встретил графа Кутайсова, к вам возвращающегося, и какую-то княгиню Вяземскую. Уж не Вера ли это? Дорогою воображал я себе, что с вами у Киарини; слышу смех детей и радость их.

Ну, брат, что волков на дороге! Так стадами и ходят, да около самой дороги, и пребольшие. Ружьем могли бы себе настрелять целую шубу. До Царского все шел дождь, теперь дорога хороша, месячные ночи, подмораживает, лучшее время для езды.

*Александр. Хорошилово,
14 марта 1828 года, 8 часов утра*

Начались ухабы, и к Москве, говорят, их столько, сколько звезд на небе. Я еду благополучно и довольно скоро,¹⁸

как видишь. Ночью встретил я фельдъегеря от Паскевича; с ним едет какой-то князь, генерал-майор, занемогший дорогой. Вот почему и опоздало известие о мире.

Ежели можно, сделай благодеяние здешнему зрителю: он служит 25 лет, из почтальонских детей, имеет пять малюток и слепую мать в Кашине. Определи его туда в экспедиторы; там умер экспедитор. Этот, кажется, исправен и трезв.

*Александр. Торжок,
14 марта 1828 года, 9 часов вечера*

Два только было приключения. 1-е: на Валдайских горах вывалили коляску какого-то полковника-немца из Риги, едущего к месту в Шую, и поднялся вопль, крики, посыпались из кибитки дети грудные и всяких лет, штук пять; мы подъехали им помогать. Слава Богу, никто не ушибся, а одному малютке лет четырех так понравилось кувыркание, что он все твердил: «Мама, еще!» 2-е: едем мимо деревни, вижу – прибита медвежья шкура на фасаде одной избы и всю почти занимает средину. «Что такое?» – спрашиваю ямщика. «Так, батюшка, вот мужик, знаешь, балагурит, лес недалеко, так вчера к нему медведь и приди, да почти на двор. Коровы – реветь, лошади также, а мужик резал хлеб да говорит: «Дай-ка посмотрю, что такое». Да и пошел, и нож-то взял с собою, словно будто знал, да медведю-то и распорол брюхо, да шкуру-то вот и прибил к избе, чтобы ребят забавлять». Расскажи-ка это Матушевичу. Вот нехвастливый герой. Ломоносова я еще не встречал, а с Бенкендорфом [это брат шефа жандармов] и Грибоедовым разъехался.

Александр. Завидово, 15 марта 1828 года

¹⁸ Первые помещенные здесь письма написаны на обратном пути из Петербурга, где А.Я.Булгаков гостил у своего брата более полугода.

Что это за скверная дорога! Вообрази себе море, волнуемое бурей и которое бы вдруг окаменело: вот большая дорога. В Медном нашел я графиню Ростопчину, едущую в Петербург. Она ехала 58 часов из Москвы, до Черной Грязи тащиась почти сутки и там ночевала, но зато не карета у нее, а дом. Как ее сто раз не вывалили, – не понимаю. Она сказывала, что Ираклию Маркову сделался удар, а княгиня Трубецкая, урожденная Прозоровская, что недавно замужем, умерла, бедная, в родах от оплошности, говорят, докторов. Здесь, то есть в Завидове, встретил я графиню Чернышеву, удивился. Одна умерла. Неужели это Анна Родионовна [вдова екатерининского графа Захара Григорьевича; она прожила еще лет восемь]? Вышло, что жена генерал-адъютанта.

Александр. Москва, 16 марта 1828 года

Я еще как в чаду. Приехал вчера поздно в Москву, промешкав часов восемь на двух последних станциях. Дали мне мерзких лошадей, а ямщик один бросил меня на дороге и бежал. Я шел пешком до села Чашникова, где нанял тройку крестьянских. Все находят, что я поправился, и подлинно – по старому сюртуку и жилету, кои здесь надел, я стал толще. Как быть иначе, блаженствовал с тобой семь месяцев! Я, право, восхищен ласками князя Петра Михайловича [Волконского], твоего князя [А.Н.Голицына] и вообще всех больших господ.

Александр. Москва, 17 марта 1828 года

Путру рано забрались архивские ко мне, один после другого; не хотел их обидеть при первой встрече, всех должен был принимать. Как ни торопился, прежде одиннадцати часов выехать не мог. Пустился прямо к Малиновскому. Сперва при жене его начался разговор поверхностный, а там отвел он меня в свой кабинет; там была исповедь, продолжавшаяся два часа. Я счел, что всего лучше быть откровенным; что знал о штатах, ему сказал, прибавя, что он, верно, доверенность мою во зло не употребит и меня не скомпрометирует. Очень было ему не по душе, что звание управляющего съезжает на директора. «Меня гонят вон, почему это? Как же сенатора делать директором Архива?» – «Да разве Обресков М.А. не был также директором департамента и вместе сенатором?» – «Все сделали, меня не спрося; как с вами говорили о новых штатах, так и со мной могли бы посоветоваться». – «Да со мной говорили потому, что я случился в Петербурге, а вы были в Москве. Да насчет штатов меня не спрашивали ни слова, а только, кого я полагал способным ко всякому месту». – «Меня граф Нессельроде давно гонит, по милости этого шельмы Шульца». – «Помилуйте, А.Ф.Шульца черви съели. Да чем мог он вам вредить у графа? Один в Москве был, другой – в Петербурге. Вы напрасно на графа жалуетесь; во-первых, он вам доставил в коронацию Владимирскую звезду; ежели бы он вас гнал, то не назначил бы директору более жалованья, нежели имеет теперь яко управляющий». – «Мне ждать нечего, я старею, глаза мои плохи; я оставлю Архив и очищу вам место». – «Ежели здоровье гонит вас прочь, это другое дело». – «Да и вам будет это неприятно: все скажут, что вы ездили в Петербург, чтобы меня лишить места». – «Я не боюсь этого нареkania; я имею честное имя, сколько всегда мог, угождал всякому, а никому не вредил; интриговать – не мое дело, совесть моя чиста перед вами; ежели вы отойдете, я все имею право вас заместить по старшинству; ежели вы останетесь, мне очень будет это приятно».

Долго он горячился, жаловался на Нессельроде, хвастал, что государь его знает, кланяется ему всегда, когда его встречает, и что не попустит его обидеть. – «Верю этому, однако же государь штаты утвердил». – «Архив придет в упадок без меня». – «Почему же? Н.Н.Каменский умер, а Архив все-таки процветает. Я был бы дурак, ежели бы стал себя равнять с вами; но вы такой завели порядок, что управление делается весьма легкой работой». Смягчаясь и горячась попеременно, он наконец стал у меня просить совета, то есть это была западня, в которую он меня, однако же, не уловил. «На вашем месте, – отвечал я, – я бы остался в Архиве директором». – «Что же – ждать мне, чтобы меня выгнали?» – «Помилуйте, да кто думает вас

выгонять? И что это за клад, Московский архив, и как выгнать того, кто 48 лет служил?» – «К чему меня служба архивская поведет?» – «Ну, конечно, ни чина действительного тайного советника, ни Александровской вы не получите». – «Так лучше отойти, как скоро штаты выйдут?» – «Тогда вы покажете, что недовольны; а останьтесь лучше после штатов несколько времени, и ежели подлинно здоровье ваше плохо, попросите увольнения». – «Я бы сделал так, но желал бы отойти с некоторой выгодой; например, кабы мне сохранили мой оклад теперешний, тогда оставил бы я место свое без неудовольствия». – «Я почти уверен, что граф Нессельроде не отказал бы вам исходатайствовать это; вы все имеете права за 48-летнюю службу; впрочем, все это предположения одни, ибо и штаты еще не существуют», – и проч.

Он сказал, что будет со мной еще говорить, что обдумает хорошенько, благодарил очень за откровенность, с коей я ему говорил. Мы расстались очень хорошо, но в душе у него заноза против меня. Судя о других по себе, он должен полагать во мне скрытного злодея. Я тебе передаю эссенцию моего разговора с ним, скажи мне свои мысли. Я тебе признаюсь, что начальство над Архивом только для того меня льстит, что ежели Малиновский отойдет, то тогда, как говорили Поленов и граф Нессельроде, мое место уничтожится теперешнее, и оклад присутствующего сольется с окладом директора, что составит тысяч семь, с надеждою, что со столетними со временем возрастет он до 10 тысяч. Я буду счастлив; мне не надобно ничего, а в том ручаюсь, что пользу принесу и службе, и истории [то есть историографии].

Я живо вспоминаю счастливое время, которое провел с тобой. Для меня было бы блаженство – разделять с тобой все твои радости, утехи и заботы. Я не без пользы был бы для тебя по многим отношениям, но как быть! Так Богу угодно. Ангельская душа, наследованная Сашкою [сыном Константина Яковлевича Булгакова] у тебя, очень мне известна, и, прощаясь с ним, я сам с трудом мог удержать слезы; но после, посмотрев назад и видя вас обоих, стоящих у шлагбаума, я дал волю слезам, и это меня облегчило, хотя и было немного стыдно Россини.

У Бенкендорфа осталась моя статья о театре. Я не имею копии; он сказал, что в тот же вечер мне возвратит, но, видно, забыл. Вот для него статейка моя о журналах. Чтобы он знал, что я не одними глупостями занимаюсь, доставь ему.

Александр. Москва, 19 марта 1828 года

Занимательно очень дело графа Кочубея, которое будет судиться. Граф В.П. купил имение, которое нельзя было продать, и владеть им принадлежало мещанину. По закону должно отобрать имение и возвратить деньги графу; но имение из худого положения приведено в цветущее пожертвованиями. Кто же за это вознаградит покупателя? Дело это много занимает публику.

Был у меня Мамоновский дядька Зандрарт. По истечении срока он отходит; а я в том поручусь всем на свете, что другого, как он, не найдут не только здесь, но нигде. Твой отход очень их всех огорчает. Фонвизин и Маркус иначе не хотят оставаться, как ежели согласятся на некоторые их распоряжения. Граф все в том же положении, но тих, пишет все мемуары; много очень хорошего и много вздору. Удивительно, как он помнит наизусть все обстоятельства, самые мелкие, и эпохи, числа, своей молодости даже. Опять говеет, говел уже на первой неделе, все шло прекрасно; но как дойдет до исповеди, то тут священник должен отказаться: он исповедывается как император, говоря о царских своих обязанностях.

Александр. Москва, 20 марта 1828 года

Мне, право, надоела уже Москва своими визитами, расспросами, вестями и пр. Ежели бы мог я приехать прямо в Семердино, очень был бы доволен; знал бы только свою семью, а то с ними-то и не дают мне быть: надобно все или рыскать, или принимать гостей; а, кажется, протрубил я, что говею. Хоть бы говельщика оставили в покое.

Я здесь занялся разбором одного из присланных из Петербурга ящиков, гляжу – польские дела 1769 года; разворачиваю книгу – и первая бумага батюшкиной руки: черновая реляция к императрице; тогда был он секретарем при Репнине, кажется. Разбор бумаг сих будет доставлять мне великое удовольствие. С Малиновским все толковали о Калайдовиче, который точно сумасшедший, но как скоро перо берет в руки, пишет хорошо, умно, основательно, а действует все вопреки. Как удосужусь, поеду его навестить. Скажи Вяземскому, чтобы дал мне адрес к княгине, а то не знаю, куда писать к ней [княгиня Вера Федоровна жила в это время у матери своей П.Ю.Кологриновой в Пензенской губернии].

Александр. Москва, 21 марта 1828 года

Тесть был у меня вчера, как я получил почту. Я сказал о графстве и деньгах Паскевичу, о мире и пр. Только гляжу: папахен, покуда я сходил в кабинет, скрылся; спрашиваю: где? Уехал – верно, барабанить! Только через два часа опять является. «Знаешь, откуда я?» – «Не знаю, скажите». – «А был я у новой графини Эриванской. Вообрази, что не было более часу, что она это знала; почта пришла так же скоро, как эстафета, которую отправил к ней с сим известием Сухозанет. Она в восхищении, и пропасть валит к ней народу; она им сказывала, что муж ее очень любит Константина Яковлевича, а я отвечал, что все сей болезнью страдают. О Грибоедове она не знала ничего, я ей первый сказал, а ведь он ей кузен; она просила, что и впредь узнаю, ей сообщать», – и проч. и проч. Где мне пересказать тебе все, что тесть мне тут наговорил! Также сказывал, что Ермолов очень обрадовался миру, прибавя: счастлив Паскевич, в год получил то, что другие приобретают в полвека; только ежели не выговорили соляные руды (не помнил тесть, какие), то приобретенный край не так будет полезен для России. Известие о мире и выгодах его большую произвело здесь радость, особенно между купцами, а награждения царские всех восхищают; есть уже ода, в коей уподобляют государя для флота – Петру, для щедрости – Екатерине и для ума – Александру. Дай Бог государю так же кончить с турками; я желаю это для моих любезных греков и для славы России; тогда загремит и имя Каподистрии. Ну и Мордвинов нашел также своего шаха, от которого нешуточную получит контрибуцию. Меня спрашивают, хороша ли невеста его Яковлева; я отвечаю, что без приданого своего была бы недурна, а по миллионам своим она красавица¹⁹. Здесь говорили, что Бенкендорф в ссоре с Паскевичем; видно, вздор, но вздор не новое для Москвы: добрая старушка, но часто врет.

Экая собралась у тебя компания! Я, перечитывая имена со вниманием, переселялся мысленно в петербургский почтамт и всякому назначал квартиру, кому в угольной, кому в маленькой гостиной за вистом, других сажал за круглым столом, других еще – на диване, других еще – в бильярдную, кого с трубками, а Виельгорского с сигарами, за которыми Сашка бегаёт курьером в кабинет. Такое взяло раздумье, что даже грустно стало. Вижу голландца Обрескова, являющегося поздно. Качай-валяй в Москву, как бы не остался до Ламсдорфа или Балына и не спустил бы все субсидии, кои ты ему достал. То-то будет рассказывать, приехав сюда. Завтра, вероятно, явится к нам.

Лестное же получил награждение Грибоедов. Фельдмаршалу Кутузову пожаловано было за Бородино 100 тысяч²⁰, а тут коллежский советник получает почти 50 тысяч, кроме чина и креста. Вот так-то Екатерина награждала, что можно было оставлять что-нибудь детям. Ох, думал я, кабы шепнул кто-нибудь государю, что Булгаков учредил скорое, порядочное сообщение между Тифлисом и Петербургом, чем тоже способствовал к пользе дел персидских: щедрый Николай подмахнул бы охотно ему полсотни тысяч. Будь я в Петербурге, я бы, право, поехал к князю твоему; хуже учтивого отказа не было бы ничего, а ты был бы в стороне. Ска-

¹⁹ Александр Николаевич Мордвинов (сын адмирала и впоследствии граф) женился тогда на дочери миллионера Настасье Алексеевне Яковлевой.

²⁰ И притом на веки вечные, так что потомки его и после делили между собой эту беспримерную пенсию.

зали бы: Булгаков забыл, что недавно простили им 150 тысяч, но должно его извинить: он слушал одну только свою любовь к брату.

Александр. Москва, 23 марта 1828 года

Вечером вчера были у нас тесть, Брокер и Афросимов; только и слышал я, что про Сенат, Ростопчину и Кокошкина. Этот начал путаться в показаниях своих и сам себе противоречит, а Ростопчина, то есть поверенный ее Крюков, подала преябедническую бумагу на Брокера и доказывает нелепо дурное управление Брокера, а он, при всех издержках, накопил уже в два года 180 тысяч капитала! На место уволенного Митюши [то есть Дмитрия Васильевича Нарышкина] графиня, которая сама от опеки Комитетом министров устранена, требует, чтобы назначили князя Масальского, известного дурака. У Брокера была конференция очень серьезная с князем Дмитрием Владимировичем. Этот говорил Брокеру, что покойный граф Федор Васильевич умер в безбожии, беспамятстве и пил беспрестанно шампанское. Брокер отвечал, что граф пил сельтерскую воду, в которую наливали палец шампанского, что он 27 декабря соборовался маслом, исповедовался, причащался, прощался со всеми, давал наставления всем, а умер 18 января; что безбожие его было таково, что Брокер желает ему, князю, и себе подобного конца христианского. Князь прибавил на это с удивлением: «Мне это сказывал старик, действительный тайный советник князь Масальский, тут бывший». – «Извольте же, – отвечал Брокер, – попросить Александра Яковлевича Булгакова к себе: граф умер на наших руках, Александр Яковлевич 22 ночи спал возле больного; он вам скажет, что князя Масальского нога не была у графа, который, несмотря на домогательства графини, не велел князя пускать к себе с ноября месяца, зная его страх к больным и умирающим». Вот, брат, какие гнусные каверзы выдумывают на покойного графа, – и кто же? Жена, им облагодетельствованная! Ибо все идет от нее. Я жалею о Лонгинове; но Крюков²¹ мерзкую играет роль, в чем и дворянская опека сама сознается. Крюков горланит, что его не допускали к больному; а я знал, что граф и здоровый его принимал неохотно, а жену его в дом к себе не пускал. Твердость, честность и примерная, бескорыстная преданность Брокера к покойному достойны, право, почтения. Кончится это дурно для графини, ибо ложь, как ни окутывай ее, наконец оголится. Ежели меня спросят, я готов правду сказать под присягою. Так вот чему учит вера католическая! Где же тут смирение, милосердие, терпение, благодарность, почтение к праху умерших? Мне, право, больно и говорить об этом.

Александр. Москва, 26 марта 1828 года

Ох, устал я. В половине двенадцатого началась служба в нашем приходе безотходная с обеднею, продолжалась битых 5 часов и 10 минут, по милости певчих княгини

Катерины Алекс. Волконской, проповедей священника, крестных ходов и проч. Насилу мы все устояли; домой приехали, разговорились наскоро и кинулись спать, а в 10 часов меня уже будил тесть одеваться, и поехали вместе к князю Дмитрию Владимировичу, Оболянинову и другим матадорам. Разгавливались у тестя; после обеда я поспал, а там опять отправил визитов нужных с десятков.

Вечеру были у нас гости. Дети, жена и молодежь складывали картинку сражения греков с турками у Тенедоса и насилу сладили до ужина. После ужина меня посадили за клавикорды вместо оркестра и ну вальсировать. Вот как весь день провелься.

Странное было происшествие вчера. Есть одна старая княгиня Оболенская, живущая в Страстном монастыре. Она была долго больна. В последнее время имела она видение или сон, что умрет в ту минуту, как запоют «Христос Воскресе». Чем ее испугать, это предвещание ее

²¹ Это двоюродный брат графа Ростопчина, женатый на княжне Черкасской. На дочери Крюкова, Марье Александровне, был женат Николай Михайлович Лонгинов.

обрадовало; она стала говеть, исповедовалась, причастилась, велела себя везти к заутренней в приход, где находился дом ее отца, тут распростилась со всеми знакомыми. К началу службы стала ослабевать, а как запели «Христос Воскресе», то она села на стул, с коего привстала было, чтобы перекреститься, и умерла. Теперь нет иного разговора, как о странной этой смерти. Конечно, пораженное воображение, действуя над ослабевшим телом, могло произвести эту кончину, которая многим кажется чудесною.

Посмотрел бы, как поднимали первую колонну Исаакиевского собора. Экая махина, и в час поставить ее на ноги! Будь одна колонна среди какой-нибудь площади, со статуей, например, Суворова вверху, все бы ей удивлялись, а теперь, что будет их 30, то всем будет это казаться вещью обыкновенною. Разве одни знатоки да мастера дела будут смотреть с удивлением на этих великанов нового Египта.

Александр. Москва, 28 марта 1828 года

Благодарю доброго Вейса за память обо мне. Я отыскал много монет чужестранных, кои хранились у Фавста в деревне; я бы охотно отдал их Вейсу, в его собрании играли бы они некоторую роль. Пришлю тебе, а ты дай ему; пусть отберет, что ему покажется.

Мамонов пишет теперь свои мемуары; нельзя не удивиться его памяти, ибо он говорит о всех обстоятельствах молодости своей. Прежде нежели приняться за труд этот, начертал он краткую о себе биографию. Я просил Зандрарта дать мне копию, списанную с оригинала; вот она. Право, любопытно; смотри, какая смесь ума и сумасбродства. Экая гордость!

Александр. Москва, 29 марта 1828 года

Мне сказывали давеча, что Гагарин много посылает сюда денег и платит старые свои долги; видно, он нашел дорогу к шкатулке скупой Мамоновой. У нее нет гроша никогда; она ему, видно, отдает бриллианты братнины, кои мы отдали ей на сохранение и кои она, видно, славно сохраняет. Я на Гагарине много видал всегда колец и разных булавочек бриллиантовых. Управит она своего братца!

Александр. Москва, 30 марта 1828 года

Я замечал, бывши еще в Петербурге, что ты не так-то был по себе; авось-либо пиявки сделают тебе добро. Почему же ты был изъят от милостей? Почему? Потому что Нессельроде думает только о себе и о своих. Буду ему завтра писать и поздравлять его. Вот ты так помнишь свои обещания: Долгоруков – камер-юнкер. Ну и Родофиникин не промах; кажется, недавно получил 25 тысяч. Кому хочет, так Нессельроде делает, вооружается необыкновенной храбростью и смелостью. Больно мне, что я не в Петербурге был. Я уверен, что если намекнуть, он бы охотно сказал слово за тебя. А все тебе надобно благодарить государя, столь щедрого и милостивого. Мы все были тронуты вестями о государе. Как не быть благословию Божию над ним? Глядя на него, станешь и мать уважать, и жену любить, и бедным помогать! Жалею о бедном Ламсдорфе, но он давно угрожаем несчастием, его постигшим.

Александр. Москва. 31 марта 1828 года

Я получил очень ласковое письмо. Оно все рукою Бенкендорфа, который благодарит меня за брошюру мою, что ты ему доставил. Вчера был пребольшой обед у богачей Хрущовых. Ты мне доставил случай сделать приятное князю Якову Ивановичу Лобанову; он тут обещал тоже. Как дошло до шампанского, то я, адресуясь к нему, стал пить за здоровье нового генерал-майора, сына его, и в доказательство представил ему и приказ. Тут и пошло всеобщее поздравление ото всех. Кстати сказать, был тут и Ермолов; вечером подошел ко мне, поцеловал, отвел в сторонку, и мы с час болтали вместе. Не нахожу в нем большой перемены, только потолстел. Тотчас спросил о Закревском и тебе весьма подробно. Он так же все любе-

зен, умен, разговора преприятного и как будто и сегодня главнокомандующим в Грузии, без всякой аффектации и принуждения. О делах не говорил; просил пустить его ко мне и быть к нему (что исполню; тогда, верно, дойдет и до всего, хотя, верно, я начинать не стану эту деликатную статью), и только сказал: «Человек может жить во всех климатах и во всех положениях; я думал, что без службы я с ума сойду или умру со скуки; признаться, сначала было трудно, а теперь, имея много свободного времени, читаю много и вижу, что я был большой невежда». Просил очень тебе, Закревскому и Воронцову кланяться. Он хочет основаться или у Воронцова, где имеет какой-то клочок земли, или в Орловской губернии, где ищет купить крошечную деревеньку²².

Я слышал от домашнего доктора, тестя моего, что вчера умер скоропостижно доктор Гааз²³; жаль, добрый и добродетельный был человек.

Александр. Москва, 2 апреля 1828 года

О Гаазе провалились: он живехонек, но представь себе его удивление и людей. Вся Москва присылала к нему в течение целого утра спрашивать, как и в котором часу он умер, а человек П.А.Рахманова, заставший его, садящегося в карету, сказал ему наивно: «Павел Александрович приказал доложить, что очень вся семья огорчена, что вы изволили скончаться, и приказал проведать, как это было, а моей больной, слава Богу, получше и что пожалуйста, дескать, к нам хоть вечером». Гааз думал, что весь город рехнулся, и уже после только узнал, отчего вся эта каша произошла.

Александр. Москва, 4 апреля 1828 года

Смотри, брат, чтобы тебе и Фонвизину не отвечать за шкатулку графа с бриллиантами, что сестра его увезла отсюда; вещи поименованы, это правда, но не оценены. Оставляя эту обузу, не худо бы тебе подкрепить настояния Фонвизина, в опеку сделанные, чтобы вещи, хранящиеся в шкатулке, были приведены в известность или оценены, или, по крайней мере, чтобы одна графиня отвечала за них, а не опекуны. Сергей Павлович [Фонвизин, родственник большого графа Мамонова] не хочет оставаться, да и подлинно смешно, что ему или тебе, назначенным государем, придется отчет давать кому? Графине, как делают это управители.

Александр. Москва, 5 апреля 1828 года

Дай Бог князю Петру Михайловичу столько звезд, сколько их (сказать «на тебе» – было бы чересчур увеличено), но столько, сколько их в Большой Медведице, – разумеется бриллиантовых; их, кажется, семь. Ты пишешь, что звезда, пожалованная ему государем, стоит 45 тысяч. $45 \text{ тысяч} \times 7 = 315 \text{ тысяч}$. Годится нашему покровителю! Дай Бог ему получать от Николая, что он заслужил уже от Александра. Мне очень приятны его воспоминания обо мне, ибо знаю, что он не любит комплименты и пустые слова.

Меншиков был здесь и уехал уже сегодня далее. Вчера был на минуту в клубе, но не остался обедать, наскучив невидальщиною москвичей, кои бегали за ним, как за маской в маскарade. Большие мы тунеядцы, надобно признаться. Жалею, что его не видал. Шимановской бью челом. Все собирался быть у нее, попросить полюбоваться ее славящимся альбомом, а написать в него что-нибудь не почитаю себя достойным. «Телеграф» сообщил, что вписано там Гете, Байроном, Россини и проч. Графа Ростопчина шуточка очень смешна.

Объявляют мне: «Чиновник из театральной дирекции желает с вами говорить». Давай его сюда! Я думал, уж не по делу ли это Афросимова с Кокошкиным. Входит старичок. «Я вас не

²² Вместо того А.П.Ермолов купил себе под Москвою, за Кунцевым, село Осоргино, где и проводил летние месяцы.

²³ Федор Петрович Гааз прожил еще много лет и кончил свою добродетельную жизнь в Москве в августе 1853 года. Кстати сказать, ему было из чего помогать бедным людям: есть известие, что ему принадлежал большой дом на Кузнецком мосту.

знаю и вы меня, но все знают душу вашего братца и его любовь к вам». – «Что вам угодно?» – «Будьте оба благодетелями моего родственника. Он экспедитором в Красном. Отдал одному лицу 1200 рублей денег вместо другого, попал под взыскание; у него пятеро детей». – «Понимаю, но как же спасти его? Он виноват. Это дирекция Рушковского, я с ним поговорю». – «Ему говорили, он отвечал: “Покуда не взыщутся деньги для удовлетворения настоящего их владельца, ничего не могу делать”». – «Да это, кажется, и дельно», – отвечал я. – «Мой родственник внес сперва 800 рублей, а теперь, продав, что мог, и всю сумму внес. Одной милости прошу, чтобы Константин Яковлевич защитил его в Петербурге; он довольно наказан, для него 1200 рублей – страшная сумма, ему это наука на всю жизнь; можно ли неосмотрительность наказывать как плутовство умышленное? Отец его был тут же 30 лет экспедитором, спасите сына. Ежели Константин Яковлевич скажет слово, то Краснобаева оставят на его месте», – и проч. Он так плакал и жалок был, что я обещал к тебе писать сегодня же и просить, и прошу: сделай это доброе дело, буде обстоятельства сии не ложны. Скажи мне слово в ответ, чтобы я мог старика обрадовать.

Александр. Москва, 6 апреля 1828 года

Обед был очень приятный у князя Дмитрия Владимировича; жаль, что не приехал Меншиков, для коего это делалось; зато был здесь Сухтелен, коего также приятно послушать, а ему есть что рассказывать. Я с ним нечаянно познакомился в Велиже, на балу у одного тамошнего помещика Богдановича. Мы очень обрадовались друг другу. Обедали тут человек с двадцать. Среди них князь Яков Иванович Лобанов, Юсупов, Кайсаров, Шепелев, Скарятин, Тучков, да сахарный Малиновский, да Небольсин, который ужасно потолстел.

У меня есть приятель Кобылинский, служащий в Воспитательном доме в Петербурге. Хлопотал я о чине ему у доброго Новосильцева. Бедняк, только играя, ужасно счастлив: в карты тысяч до восьми и даже пятнадцати в год приобретал. Знакомится он с одним Стрекаловым, богатым пьяницей. Кобылинский своими убеждениями отвратил его от вина, исторг из дурной и ввел в хорошую компанию, расстроенные дела привел в порядок. Этот Стрекалов, из благодарности и не любя родных, отдал Кобылинскому с лишком 1000 душ заживо, так что этот, ходивший почти пешком, вдруг очутился с пятидесятью тысячами дохода годового. Прекрасно! Да что же? Радость ли неожиданная, перемена образа жизни, только приятель наш с того времени все болен, хотя и выезжает, сохнет, чахнет, а предобрый малый. Мы хотим его женить. Ежели бы Лизонька²⁴ была благоразумнее, то вот бы жених; но он непригож, хотя и молод, нелюбезен, не знает по-французски.

Александр. Москва, 9 апреля 1828 года

Меня вчера затащили смотреть гнусную эту пьесу «30 лет, или Жизнь игрока». Я бы запретил такие представления. Тут три эпохи игрока. В первой половине старый отец, после всех тщетных усилий усовестить и исправить сына, который только что женился, произнес над ним проклятие, падает и умирает. Сын предаёт себя всем преступлениям. Жена его ангел: она следует всюду за ним, видя его всеми брошенным и осужденным на эшафот. Есть сцены, кои душу раздирают и в ужас приводят. Я, право, не мог дослушать и уехал, не дождавшись последней эпохи игрока. Волков также дал себе слово никогда не бывать. Но как ведь любят великие чувства! Вообрази, что огромный театр был весь полон, особенно дамами. Я нашел одну в коридоре, которой давали капли и воду пить; везде слышны были слезы. Кокошкин говорил Волкову, что он сказал одному игроку: «Конечно, я тебя не сравниваю с графом Жермени, но все-таки это ужасный урок, которым ты воспользуешься». Знаешь ли, что тот ему

²⁴ Сестра Булгаковых от второго брака их матери, Шумлянская.

отвечал? «Какой вздор! Почему не играть! Жермени дурак, он все понтирует, а я банк мечу...» Хорош сахар! Из любопытства посылаю тебе афишу.

Здесь слышно, что поэт Пушкин принят в службу в собственную канцелярию государя [это могло быть после истории с «Гаврилиадою»]. Кабы да исправился этот шалун! Август и Людовик XIV имели великих поэтов. Пушкин достоин воспевать Николая.

Приехал Фонвизин и продержал меня часа полтора. Все просит убедительно быть опекуном, говоря, что и князь Дмитрий Владимирович меня атакует. Правда и то, что теперь до имения дела нет, а только наблюдение за персоной графа. Ежели это составит мне опекунских процентов тысяч пять, то, может быть, и соглашусь. Пять тысяч для меня сумма весьма значащая. Ежели графиня будет так бесстыдна и захочет брать себе часть опекунских процентов, то тогда, разделяя на три доли, выйдет менее, и не стоит мне труда озабочивать себя; кажется бы, довольно ей и 100 или 120 тысяч, коими (за исключением полагаемых на содержание брата 60 тысяч в год) будет ворочать как хочет безотчетно. Она определила своему управляющему из братниных доходов по 6000 рублей в год, за управление будто конторой.

Пришли мне список Воронцовской коллекции портретов с отметками его и графа Семена Романовича, чтобы приискивать, чего у него нет, а здесь много можно купить портретов, и очень дешево. Меня просил Воронцов, я все забывал взять у тебя реестр, когда был в Петербурге. Я, сделав выписку, тебе возвращаю.

Александр. Москва, 11 апреля 1828 года

Почты все еще нет. Удивительно! Видно, все еще копается приятель наш. И я здесь сегодня копался; хочется мне сделать записку о происхождении канцлерского, следовательно, и вице-канцлерского титула и о всем, касающемся до этого, наконец, и список их по старшинству, и сделать это приношение графу К.В. [Карлу Васильевичу Нессельроде], да ничего еще не нашел. Вчера Паскевичева получила от мужа письмо, что он с лошади упал и очень ушибся, лежит, однако сам пишет; на что же было ее тревожить?

Я встретил вчера, шедши из Архива пешком домой, Шульгина А.С., который велел тебя обнять и превозносит тебя до небес. «Я к Константину Яковлевичу пойду в денщики, ежели ему нужна могла быть прислуга». Вот как! Я уверен, что не один он тебя так любит, да и не лицемерно, а истинно.

Александр. Москва, 14 апреля 1828 года

Дай Бог, чтобы подобные награждения продолжались и заслуживались. Славно подсыпали Дибичу! Как ни говори, он один в России в звании своем, и дела у него много. Это мнение всех здесь, и государя благословляют за его щедрость. Благодарю тебя, что отдал своему князю мою статейку; желаю, чтобы ему была угодна, а тебе доставлю другой экземпляр. Теперь хочется мне заняться изысканием о канцлерстве и вице-канцлерстве. Сегодня суббота, но я приехал в Архив (откуда тебе и пишу), чтобы порыться в бумагах. Никого нет, нас только четверо; тем лучше: никто мешать не будет.

Видно, Закревскому не миновать министерства; только это, мне кажется, будет хлопотливее юстиции, которую он отказал. Этот человек везде хорош, куда его ни посади; только жалею, что он лишается 50-тысячного своего оклада, который имел в Финляндии. Слышно, что Лонгинов также отправляется в путь, а потому и пишу я ему, чтобы напомнить о деле бедного Аристова, коего вся просьба в том только состоит, чтобы прошение его было препровождено к министру юстиции, для рассмотрения сходственно с законами, а не к Мещерскому²⁵, ибо дело у него с попами, а свой своему поневоле друг.

²⁵ Князь П.С.Мещерский был тогда обер-прокурором Св. Синода.

Александр. Москва, 16 апреля 1828 года

Читал я статью Улыбышева²⁶; довольно вздорная и ничего не доказывающая, да и время ли теперь говорить о том, что давно было? Ежели бы подлинно дурна была Каталани, не стали бы церемониться после эрмитажных представлений и сказали бы ей тогда, что дурно; а я имею письменную похвалу об ней Виельгорского. Он один делает ей только упрек, в котором, однако же, сам не убедился, но говорит: «Сказывают, что мадам Каталани подвержена горловому ослаблению, кое заставляет ее фальшивить в течение некоторого времени, но это относится к строению гортани, а вовсе не к слуху; без сего она была бы певицею первого класса», – и проч. Да кто поверит Улыбышеву? Разве в Париже нет у всякого своих ушей?

За дурной погодой Святой недели качели и гуляние новинское отложили до 1-го мая. Вчера возил я туда детей. Пашка очень радовался на паяца, но как этот ушел с балкона, то он закричал, желая его возвращения: «Папа, я хоту (хочу), чтобы паяц еще раз был дурак». С Катенькой гулял я пешком; спустили шар, который, летев мимо всей Москвы, очень величественно упал на Полянке прямо на извозчика, закрыв его всего с дрожками, и задушил было остававшимся в шару дымом соломенным. Тот ехал шагом, дремал на козлах, как вдруг очутился в шаре бумажном.

Надобно мне еще писать к князю Петру Михайловичу и просить его, чтобы он дал хлеба кусок бедному Кампореzi. Екатерина его выписала в 1781 году, и с тех пор он все работает; теперь стал дряхл, можно за 47 лет службы дать пенсию под старость. Он подавал государю письмо, которое препровождено, по отзыву Лонгинова, к князю Петру Михайловичу на рассмотрение.

Александр. Москва, 17 апреля 1828 года

Я думал было уехать от Ланских²⁷, вместо того Юсупов меня за полу. «Ну-ка, не делайте ничего наполовину. Садитесь-ка сюда, и будем ужинать». Тут подсели еще князь Дмитрий Владимирович и прекрасная Потемкина; я и остался, и приятно провел вечер, но воздержался и не ужинал, чему очень радуюсь. Говорили все о театрах и разных пустяках. Я исполнил комиссию Воронцова, от которого получил сегодня письмо; он желает, чтобы в Одессе делались искусственные воды, учреждаемые здесь Лодером.

«Я расскажу вам анекдот, – сказал Юсупов, – об одном из наших друзей, большом пьянице. Говорили ему о сих искусственных водах, о том, что будут всякие воображимые воды, и он тотчас спросил, будет ли “вода жизни” (водка)». Князь очень хвалит воды, то есть князь Дмитрий Владимирович. Подписки простираются до 60 тысяч рублей, и этого достаточно было для начатия предприятия; с 1 июня все пойдет. Можно будет иметь всевозможные европейские воды, весь курс будет стоить около 300 рублей. Князь сам пить будет эгерские. Только воля его, а я спорил и всегда буду спорить, что это не то же, что пить всякую воду на месте. Перемена лиц, мест, воздуха, беспрестанное рассеяние, регулярная жизнь, рано ложишься спать, рано встаешь, ходишь, а главное – что лишаешься всех возможных забот и хлопот, огорчений, коих у всякого есть более или менее. Тут был Новосильцев, который очень основательно заметил, что Петербург не Карлсбад, что он там воды не пьет, но всякий раз, что там бывает, набирается здоровья. «Да спросите-ка, – прибавил он, – у Александра Яковлевича, не то ли же скажет он о себе; да спросите у графини Строгановой, не то ли скажет она о князе Дмитрие Владимировиче?» А Юсупов все свое толковал: «Скажите мне, прошу вас, и оставим в стороне красивые чувства, будет ли для здешних вод хорошая ресторация?» Князь Дмитрий Владимирович ну хохотать: «Вот что прелестно: мы толкуем об укреплении здоровья, а вы – о средствах заработать несварение». У нас такое пошло веселие и смех, что все с других столов к нам сошлись.

²⁶ Александра Дмитриевича Улыбышева, сочинителя известной французской книги о Моцарте.

²⁷ Это будущий (при Александре II) министр внутренних дел Сергей Степанович и его супруга Варвара Ивановна.

После Ланская начала говорить о твоих племянницах, превознося их красоту. Риччи, которая всегда в восторгах ото всего, начала их расхваливать. Это отчасти и правда; но признаюсь, что я не люблю эти похвалы чрезвычайные: они вредят более, нежели приносят пользы молодым девушкам. Накричат так, что всякий ожидает более, нежели есть в самом деле. Хорошо, что у Катеньки такой нрав и отсутствие всякого кокетства, что ее не избалуют речи чужие. Лёльке скорее может это голову вскружить, но эта еще долго дома посидит.

Да благословит Бог путешествие государя! Известно ли, когда и куда изволит он отправиться? Князь сказывал, что государь едет в трех только повозках, с одним Бенкендорфом, доктором и камердинером, и что князь Петр Михайлович сопровождать будет, вероятно, императрицу. Спроси у Делингаузена, будет ли выпуск подпрапорщиков и попадет ли Хрущов, о коем я его просил; а я даю ему слово, что это, право, останется между нами.

Я нашел в Архиве многое, до почт в России касающееся; сделаю тебе списочек, – будешь ли ты любопытным, то для тебя спишу. Ты забыл мне сказать, а я читаю в «Инвалиде», что Татищеву – 1-го Владимира, чему не очень он обрадуется. Я помню, что лет пять назад говорили, что ему дадут, а он меня уверял, что ежели получит, то назад отошлет.

Александр. Москва, 19 апреля 1828 года

Очень тебя благодарю за манифест турецкий. Будь Божие благословение над государем, а писан акт этот премудро, основательно, твердо, убедительно. Тут есть очень умная загвоздка. Государь говорит, что цель войны сей – установить всем европейским флагам свободное плавание Босфором; теперь все делаются участниками дела нашего, ежели не явным союзом, то обетами в нашу пользу. Чем завидовать и мешать, как то было при Екатерине, Европа будет в душе нашей союзницей. Я раза три перечитывал манифест. Поехал в клуб, коему пожертвовал один экземпляр. Как меня благодарили все за атенцию эту! Как читали! Какой сделался шум, восторг! Иной и сам не знает, зачем радуется войне этой; всякий предвещает успехи, да и дело правое.

Александр. Москва, 20 апреля 1828 года

В нынешнюю ночь скончался сенатор, князь Кирилл Александрович Багратион, после 7-летней болезни. Спор о его летах и теперь еще не решен. Князь Юрий Владимирович Долгоруков, который себе дает только 90 лет, уверяет, что Багратион годом его старше был всегда. Тесть мой (на коего сестре Багратион был женат первым браком) говорит, что когда он посватался, то все удивлялись, что княжна Хованская предпочла молодому Ростопчину (графу Федору Васильевичу) старика Багратиона; это было в 1788 году, и тогда был ему 51 год. По этому расчету – князь Юрий Владимирович прав. Как бы то ни было, он умер, и теперь все равно, сколько жил, мало или много. Злоязычные полагают, что княгиня только ждала этого, чтобы выйти за Ивана Ивановича Демидова (и этому гусю лет под 80), с коим очень давно в интриге, а другие говорят, что княгиня наводняет дом свой слезами. Да полно, у дам часто одно другому не мешает. Тесть очень поражен этой смертью, хотя и давно ее ожидал; он духом и телом упадает.

Вот и приглашение князя Дмитрия Владимировича завтра на большой обед. Не хотелось бы, а надобно выпить шампанское за здоровье императрицы и наследника царского. Мне дали расписание всем экипажам, отправляющимся в свите государевой; но по оному не видно еще, когда изволит отправиться сам государь.

Александр. Москва, 21 апреля 1828 года

Вчера обедали мы у Фавста большой компанией; он, по обыкновению своему, не отпустил уже никого, и надобно было остаться у него на целый день, что немного тяжело. Я тотчас после ужина отретировался и нашел дома письмо твое № 31 от 16-го. Не один раз, мой милый и любезный друг, перечитывал я письмо это. Оно для меня новым доказательством нежных

твоих чувств ко мне. Лишнее тебе говорить, сколько оно меня тронуло. Иначе я тебе никогда говорить не умел, как чистосердечно, и теперь то же буду делать. Я один знаю, сколько трудов, огорчений стоил мне несчастный наш процесс; ты был в чужих краях. Бог помог! Конечно, тень батюшкина и друзья его более сделали, нежели я, но процесс был выигран. Что же досталось? Около 3000 душ, а долгов? 215 тысяч рублей, кои с процентами в 7 лет составили 361 тысячу, нами признанную, да 90 тысяч в банке. Опека в управление свое во время тяжбы ничего не уплачивала, а нам имение сдала с 11 000 рублей наличных, да на 30 тысяч претензий тяжёбных. Вот с какими трудностями надо бороться. Когда имение состояло и из 4000 душ, батюшка никогда 10 тысяч не имел дохода. За продажей Азанчевскому, за умершими от заразы в 12-м году, за уступленными Щербатову, оставшиеся у нас 1700 душ дают нам от 40 до 50 тысяч дохода; стало быть, ресурсы умножены, имение не разорено. Пусть любой хозяин поедет и посмотрит, не в цветущем ли положении деревни? Я завел вновь пять скотных дворов и фольварков, на заводах котлы все медные, и их берут в залоги, когда мы ставим вино в казну. Мы начинали исправляться после опеки, что же вышло? Ты помнишь Кикина? Надобно было делать мировую, то есть разоряться, отдать Щербатову дом, нижегородскую деревню и чуриловские 600 душ, дававшие 20 тысяч дохода, и все это отдать чистое, освобожденное от всякого долга, который пал на нас. Три голодные года и пожар, истребивший почти в глазах моих на 40 тысяч хлеба, довершили. Тут выдали нам 150 тысяч из Кабинета, без коих мы все бы потеряли. Вот в двух словах история имения нашего.

Сделал ли бы другой лучше меня – не знаю. Я не оправдываюсь, да и ты меня не обвиняешь. Я сделал все, что мог и умел, но сознаюсь, что сам я последствиями недоволен, хотя и утешаюсь в совести моей. Доходы я не проматывал, ибо не имею никаких разорительных вкусов; живем мы скромно, половину года в подмосковной, дом нанимаю крошечный по 2500 рублей, держу 5 лошадей, имею 2 кареты, 22 человека людей; но нас 6 человек в семье, дети не маленькие, тут не об одной одежде речь, но и о воспитании их. Жалованья получаю я 3000 рублей, вот все мои доходы и ресурсы. Бог еще спасал нас тем, что ты все лишнее предоставлял мне, не пользуясь грошом из доходов с деревень. Все это так, но я все-таки совершенно с тобой согласен, что надобно взять какие-нибудь меры.

Александр. Москва, 23 апреля 1828 года

Вот и Ульяновский явился прощаться со мною. Тихий, добрый малый; он привез нам екатерининские бумаги. Малиновский все добивается, когда будет граф: хочет просить его быть в Архив. Я говорю, что граф Архив знает, что в нем ничего у нас не переменилось и что графу и без этого довольно будет дела в Москве, где, вероятно, остановится очень мало. Главное, видно, у него – атаковать графа насчет штатов. Я уверен, что ежели граф сухо ему скажет, что на все это была воля государя, тот жалобы свои оставит. А Малиновский мне говорил именно, что они не думают, чтобы государь одобрил, что сенатора с управляющих делают простым директором, что государь его лично знает, и прочие глупости. Ему очень было неприятно, что на большом обеде, в субботу, князь Дмитрий Владимирович, говоря о мире, как-то сказал, оборотись ко мне: «Вы дипломат и начальник Архива». Малиновский покраснел, а я прибавил: «Вы хотите сказать: один из начальников».

Александр. Москва, 25 апреля 1828 года

Бедная моя приятельница Николева очень плоха; ее поддерживало магнетизирование, а делала это известная Турчанинова, о коей не только праздные, но и сами доктора (и это многое говорит) такие рассказывают чудеса: например, что воду из груди обратила в ноги, что горбтому уменьшила горб, от чего начал мальчик расти, и проч. Все это обратило внимание полиции, Ровинский [московский полицмейстер] ездил к ней узнавать правду; она объявила, что внутри ничего не дает, а второе, что не берет гроша за лечение, делая это по одной стра-

сти. Николевой сказали, что Турчанинову высылают из Москвы, это ее испугало, встревожило; прислала за мной, просила съездить к князю Дмитрию Владимировичу – узнать правду и сказать ему, что она двух дней не проживет, ежели лишат ее помощи Турчаниновой. Все эти глупости отняли у меня целое утро, так что я и в Архив не попал, но успокоил хоть бедную мою больную.

Вчера бегал скороход в Кремлевском саду, бездна была народу; только в 7 часов побежал не он, а все от хлынувшего вдруг дождя. Порядочно вымочило тех, кои не забрались заблаговременно в галереи, где ужасная была духота; у многих дам сильно исковеркало шляпы и капоты. Он бегал от большой решетки до арки, где начинается второй сад, и, повторив это путешествие бегом 30 раз в 40 минут, говорят, собрал 4000 рублей, и вероятно; но много было и издержек, ибо вся эта галерея была завешана холстинной кулисою, да и кресла, канапе, взятые напрокат, были испорчены дождем. Вид был прекрасный: Арсенал был, равно как и стены кремлевские, усеян народом, смотревшим бесплатно; на всех домах, даже отдаленных, видны были люди на крышах. Экое любопытство! Я слышал у князя, что мещанин один вызвался бегаться с этим мусье, требуя только 100 рублей, ежели прежде его перебежит условленное пространство.

Александр. Москва, 26 апреля 1828 года

И мы не придумали новую штате-даму, то есть не угадали и полагали все, что княгиня Софья Григорьевна [Волконская, супруга министра двора]. А всех лучше, мне кажется, Перовскому: 10 тысяч жалованья не безделица. Посмотрим штаты коллегии нашей и на что решится Малиновский. Ежели не понравится ему титул директора, то понравятся 4000 рублей жалованья вместо 2200 рублей, кои теперь получает.

Вчера приезжал к нам прощаться Алексей Петрович Ермолов и часа два просидел и проболтал. Любезный и приятный человек, очень тебе велел кланяться. Сегодня едет к отцу в Орел на житье, а к будущему году хочет основаться здесь, в Москве. Я ему давал читать указ о Закревском; он его любит душою и рад, что дали ему место, где много может наделать добра.

Ты помнишь останкиновского учителя Иванова? Он служит у князя Дмитрия Владимировича, который имел очень счастливую мысль заставить издавать в Москве ежедневную газету. Стыдно, что не было это доныне в столице, какова Москва. Редакторов человек шесть, всякий по своей части. Князь предоставляет все барыши Иванову, предлагая помогать ему во всех издержках; есть уже более 500 подписчиков. Вот записка Иванова. Скажи слово Блудову, ежели увидишь его. Иванов боится, чтобы это не пошло в длинный ящик. Россия будет знать, что делается в Москве по крайней мере; только не надобно во всем перенимать у «Северной пчелы», коей и формат будет иметь новая эта газета. Можно ее сделать очень занимательной.

Малиновский не был сегодня. Надобно будет браниться с ним. Он сделал из двух хороших комнат кладовую для книг, напечатанных Румянцевым, то есть собрание грамот; они не продаются вовсе, а только место занимают хорошее, а дела екатерининские некуда положить, а в подвале, где лежат теперь покуда, все это сгниет. Он не жалуется эти бумаги, потому что не он их выпросил, а кажется, сохранение их поважнее, нежели печатные экземпляры грамот. Довольно бы и одного экземпляра. Малиновский говорил мне о необходимости сделать повестку, чтобы ездили в Архив всякий день. «Ведь вы управляющий, зачем же не прикажете?» – «Да я вас ожидал все, чтобы нам обоим это приказать, а молодые люди не подумали бы, что это мой каприз». В этих случаях он ничего без меня не хочет приказывать, а в других делает все один. Шульц хорошо делал, что всегда с ним огрызался, а ласкою ничего не возьмешь. Беспреестанно присылает спрашивать, когда будет граф Нессельроде.

Александр. Москва, 28 апреля 1828 года

Итак, граф Нессельроде едет не через Москву! Жаль, что не увижу его. Пожелай ему счастливый путь, а я было ему хотел сделать подарок. Есть у нас переводчик Мамигонов, славный малый, знающий хорошо русский, арабский, турецкий, персидский языки. Граф мог бы его с большой пользою употребить в теперешних делах; видно, нет ему счастливой звезды.

Пфеллеру не скажу ни слова, а желаю, чтобы уладилось дело сына его; я давно старика не видел.

Вообрази, что делае мая здесь сельтерская вода лучше настоящей и стоит 80 копеек кувшин; так крепка, что один остающийся стакан от початой бутылки вышибает пробку.

Александр. Москва, 30 апреля 1828 года

Я было намылил себе бороду брить, – является почтальон с письмом твоим №39, отданным ему на руки; это не бывало. С большим нетерпением распечатываю, прочтя слово «нужное» твоей рукою на пакете. Я подумал – что-нибудь радостное для тебя или для нас; читаю, что Рушковскому генерал-лейтенантство. Однако же смыл мыло, оделся наскоро, взял извозчика и пустился на почту. Минут десять не мог добиться сахара: говорят, не выходил еще из спальни, а так как он запирается вкруг, то с трудом я достучался; нахожу его только что в рубашке. – «Неужто я первый вам объявляю?» – «Что? Что?» – «Обнимите же меня и знайте, что вы тайный советник». – «А сенатор?» – прибавил он с замешательством. «Нет, но почт-директор, как и прежде». Тогда кинулся он мне на шею, пробежал твое письмо и начал оное целовать. Я потребовал истолкования его вопроса, и вот что он мне сказал: «Я получил еще в пятницу письмо от г-жи Лонгиновой, которым она объявляла мне о моем продвижении, поздравляя меня от имени своего мужа, коего тоже повысили. Константин Яковлевич мне и слова не говорил, и, однако же, я имел письмо от него; то было на другой день после письма вашего добрейшего брата; посудите же о моем состоянии. Зная жадность Константина Яковлевича к объявлению приятных известий, я полагал по его молчанию, что меня отставили в моем звании. В герольдии делают сенатором за старостью. Теперь вы вернули мне спокойствие». И ну меня целовать опять, меня и письмо твое. Он был вне себя и, брав меня за руку, беспрестанно таскал из спальни в турецкую комнату и даже в залу и обратно, не находя места, где усесться, и повторяя: «Потому что, вот видите, Лонгинова пишет вот ефто-то и поздравляет, Константин Яковлевич молчит об ефтом. В субботу совсем не пишет, а сегодня писем, или письма, лучше сказать, от него нет, то пожалуйста, письма нет, а Марья Александровна Лонгинова, вот ефто, поздравляет, то как же мне не полагать, что вместе с чином-то я и к герольдии?»

Эта фраза, верно, 20 раз была повторена, и выходит, что ежели Лонгинова тебя и предупредила, то все-таки истинная радость была от тебя. Ты Богом поставлен для утешения Рушковского; по крайней мере он благодарен, то есть наружно, ибо кто же войдет в душу человеческую? Весь город уверен, что это *ты* выпросил, повторяя, что князь едва его знает в лицо, а ежели и знает, то, верно, расчухал в минуту, чего он стоит; и тут все ошибаются, ибо для места Рушковского не нужны ловкость, ум, связи, способности, а просто прилежание и молчаливость, – это раз; а второе, жаль то, что не имеет он друзей (но и это не нужно, а может, и вредно его месту). Никто не радуется, а всякий бранит, плюет, спрашивая, за что такое счастье этому человеку? Второй вопрос у всех: «А братец ваш что получил?» И ответ: «Он и так осыпан милостями государя», – никого не удовлетворяет. Я в душе моей разделяю общее мнение. Однако же, ежели забыли, что недавно Рушковский получил Владимира, то можно забыть и деньги, кои не дали, а простили. Куй железо, пока горячо. Я бы на твоём месте не переставал повторять, что, конечно, покуда ты, как колодник, работаешь, то место имеешь хорошее, лишить тебя оно было бы и несправедливость, и утрата для службы самой. Но силы твои истощатся же когда-нибудь, тогда останешься с долгами. Бездну назову тебе людей, кои менее тебя трудятся, а получали и получают много очень. Голицын, когда хотел, то, преодолевая всякие трудности, просил же за Рунича и ему подобных, а тут истощил он кредит свой. А тебя

назвать достаточно государю: ты, кроме чести князю и пользы службе, ничего не доставлял. Право, брат, разговаривая с князем, не упускай случаев: пусть знает он положение твое; дитя не плачет, мать не разумеет. В службе надобно соблюдать равновесие, а ты отстал далеко от Рушковского.

Весть твоя принесла пользу одну. Я Рушковскому говорю: «Послушайте, такое известие стоило бы подарка. Я оно не приму от вас, но есть у моей жены одна старая дворянка Каменская, пять лет лежит в постели, милостыни не просит, но ей одною живет; дайте ей 100 рублей, и вы сделаете дело, Богу угодное». Тайный советник тотчас вынес деньги, а для жены и Катеньки был день отрады. Вчера они отнесли бедной эти деньги. Вообрази, какая это фортуна для женщины, платящей по 3 рубля в месяц за квартиру; да и тут помещает она еще у себя другую несчастную, которая еще беднее ее! «Без моей бедной, – говорит Наташа, – я бы негодовала на повышение Рушковского». Скажу тебе по секрету, что на почте никто не доволен и что, напротив, они огорчены, что ты ничего не получил. Эх, я тебе нагородил на досуге, но сии подробности о товарище твоём должны тебя интересовать. Теперь остается ему только жить лет сто и накопить миллион; вот и пожалеешь, что такой человек не женат.

Здесь большая вышла каша по французскому театру. Юсупов торжествует, что князь Петр Михайлович написал князю Дмитрию Владимировичу, что не хочет входить ни во что, что пусть князь делает как хочет, сам выписывает труппу, которая должна быть на ноге бывшей итальянской, то есть частной, а не императорской; что государь для удовольствия здешней публики давать будет по 30 тысяч в год; стало, лишаются театра, декораций, костюмов и проч. Юсупов предлагал Карцеву (которая, может быть, и сама была актриса), которая за 15 тысяч ехала с сим задатком в Париж и бралась набрать славную труппу в короткое время. Князь Дмитрий Владимирович не согласился тогда, а теперь она не хочет. Это дело премного занимает нашу публику, ибо имеется изрядное количество подписавшихся, заплативших вперед более 40 тысяч рублей. Давайте-ка нам итальянцев, когда вам немного надоедят.

Александр. Москва, 2 мая 1828 года

Дай Бог путешествию государеву совершиться хорошо, и чтобы это хорошее начало предзнаменовало славные успехи. Все Бога молят о том. Устраивай отъезды царские, а там и наши дела трактовать станем. Вот тебе и преемник Шишкову. Теперь у нас четыре министра не нашей веры: морской, финансов, просвещения и иностранный²⁸. Чтобы попы совсем с ума не свели Блудова! Здесь ни у кого не выбьешь из головы, что государь едет на Москву, заедет к Троице и проч., а Нессельроде так кто-то встретил на улице едущего в дорожной коляске. Вот как у нас видят и как у нас врут!

Гулянье давеча было очень хорошо. Шедший до обеда дождь прибил пыль, и воздух в лесу был прекрасный. Множество было народу и экипажей, пускали пребольшой шар, дети натешились, навеселились, а я, глядя на них, также. Коляска бригадира Исленьева, в 6 лошадей, обратила на себя всеобщее внимание. Это большая невидальщина: все забыли, как ездят в 6 лошадей, а ямское шестиконие давно перевелось у нас. Среди гулянья слышали мы крики дамские, суматоху, лошади били, но какой-то молодой офицер прыг из дрожек, кинулся и остановил подручную, можно сказать, с опасностью жизни собственной. Гляжу, а это нашего Лазарева сестра, вся испуганная глядит из кареты и кричит: «Батюшки, помогите!» Я не мог, потому что все дело было уже сделано. Охота же ездить на гулянье на молодых бешеных лошадях! Долго ли до беды? Юсупов также обращал на себя внимание: он ехал в старинной карете, принадлежавшей князю Безбородко. Старо, а хорошо.

Только выхожу садиться в дрожки – от графа Мамонова записка, коей просит меня к себе. Я заезжал и пробыл с час у него. Странно, какие бывают у него отступления от сумасше-

²⁸ Траверсе, Канкрин, князь Ливен и граф Нессельроде.

ствия. Он, право, меня тронул, говоря о своем положении, одиночестве, что брошен всеми и проч. – «Да я первый бываю у вас». – «Вы бываете редко, я не могу требовать, чтобы вы ездили всякий день: какое вам удовольствие быть со мною? Зачем я один всегда? Зачем под властью докторов?» – «Вы жалуетесь, что всегда одни; да разве не доброй волей заключили вы себя в Дубровицах шесть лет сряду? Стало, вы людей бегаєте, а не они вас». Касательно докторов я ему откровенно сказал, что болезненное его состояние заставило государя назначить опеку и его отдать на руки докторам. – «Да я не болен, я ем, сплю хорошо, никому не делаю вреда; чем же мне выйти из положения, в коем нахожусь?» – «Повинуйтесь слепо всему, что от вас требуют, сделайте это усилие над собой, не давайте повода к жалобам; когда убедятся в том, что вы пришли опять в первобытное ваше положение, весь этот надзор, опека, все исчезнет». Долго рассуждал он, удерживал меня обедать, и я жалею, что не мог его потешить. Он меня сегодня тронул: несколько раз были у него слезы на глазах, проводил меня до передней и жал руку два раза, прося его не оставлять. Теперь я и власти уже не имею, но Фонвизину передам этот разговор.

Александр. Москва, 3 мая 1828 года

Чумага прислал мне сказать, что Дашков приехал²⁹. Тотчас к нему поехал, но не тут-то было; Титов, у коего он живет, сказал что Дмитрий Васильевич выехал к Ивану Ивановичу Дмитриеву и что, вероятно, и ко мне заедет; поскорее домой, но он не был. Ежели не увижусь до обеда, то после обеда опять к нему пушусь. Так все и валит из Петербурга.

Александр. Москва, 4 мая 1828 года

Дашкова я вчера видел, был у него часа два. Очень, кажется, здоров. Совестно было звать к себе на вечер, хотя бы рады были ему и в сюртуке, несмотря на гостей, кои у нас были: он вечером же и пустился в дальний путь. «Благодаря вашему брату, – сказал он, – мы не решаемся останавливаться более чем на полдня в Москве». Это и дело, а то как бы такому множеству народа ехать без остановки в лошадях? У Дашкова бездна перебивала народу, так что ему надоело, и я не мог порядочно с ним поболтать. Чумага, как водится, был тут на бессменных ординарцах и сообщал письмо из Кишинева, по коему турки сделали нашествие на Бухарест, сожгли его и опять тягу дали. Это было, видно, последнее их нежное прощание с княжеством сим. Может быть, это и не правда еще. Из Царьграда есть известия: там все спокойно, но великое царствует уныние, и ничего так не боятся, как высадки прямо в столицу, а потому и наблюдается строгое крейси-рование около Босфора.

Александр. Москва, 5 мая 1828 года

Был я сейчас у Волкова, с коим говорил о положении несчастного Алексева [это зять Ф.Ф.Вигеля]. Государю, верно, было бы больно узнать, что генерал-лейтенант, служивший 50 лет, получивший девять ран, находится на смертном одре в такой нищете, что не на что лекарств покупать. Довести это до сведения государя, столь милостивого, как наш, – это, мне кажется, сделать ему приятное. Не много стоило мне труда убедить Волкова, и он на меня возложил сочинить письмо, что тотчас по отправлении почты и исполню. Дай Бог успеха! Ежели милость не найдет Алексева в живых, то обратится на вдову и детей.

Вчера князь Дмитрий Владимирович сказывал (не мне, однако же, а Ланскому, мне пересказавшему), что проехал фельдъегерь от Паскевича к государю с известием, что турки начали против нас в той стороне военные действия, но где? Сказывают – около Анапы, а другие – на эриванской границе. Удивительно, что даже фельдъегерю надо понапрасну ехать в Петербург,

²⁹ Дмитрий Васильевич Дашков (сестра которого была за Титовым) состоял тогда при графе Нессельроде, который отправился, как и государь, к армии на юг.

когда знают, что государя там нет; по крайней мере можно бы отправить с таким известием эстафету к государю. Турки сделали набег и перерезали наш аванпост, состоявший из двухсот человек. Не горские ли то были народы, турками подстрекаемые? А ежели турки, то и на суше так же их накажут, как были на море в Наварине наказаны за дерзость свою.

Александр. Москва, 11 мая 1828 года

Есть некто молодой человек, служащий у нас в коллегии, Николай Михайлович Смирнов³⁰. Он недавно вышел из опеки, богат, был во Флоренции с сыном приятеля моего графа Девиера. Этот Девиер, увидев один раз Катеньку в моем кабинете, начал хвалить ее красоту, прибавляя: вот бы ей жених Смирнов, молод, порядочен, добр и богат. Я засмеялся и отвечал, что она слишком молода. – Да кто же вас торопит? Вы же его и не знаете еще; дайте ему приехать сюда, узнайте его покороче, и ежели будет вам угоден, то можно со временем и дело сделать. Я благодарил за добрую волю, и так и осталось. Этот Смирнов едет сюда, но не хочет оставить Петербурга, не быв введен в твой дом и не познакомясь с тобою. Здесь все меня атакуют и просят о письме для него. Вчера должен был я оным снабдить родственницу его, княжну Волконскую, что за Наумовым Алексеем Александровичем, о чем тебя и предупреждаю, любезный друг. Ты мне скажешь, каков он; хотя и полагаю я предположения графа Девиера воздушными замками, но зачем не завести знакомства с порядочным молодым человеком? Все это будет между нами, а то попадись кумушкам под язычок, так бог знает, какие сплетут басенки.

Вчера был я у Рушковского, говоря, что ты пишешь о его чине и что ты совсем не того мнения, что ему достался оный за ничто, как многие утверждают. Я сказал ему, что ты разделяешь мое желание – быть ему еще полвека почт-директором и накопить миллион. «Очень благодарю, – отвечал он, – но на что мне? Я привык к бедности». – «Ежели так, то почему вам не употреблять то, что почитаете лишним, на делание добра? Брат шутит в своем письме и говорит: пусть Иван Александрович сделает нас своими наследниками». Он засмеялся и прибавил: «Очень хорошо! Так братец вам это пишет?» – «Да, жаль, что нет письма со мною, а то бы вам прочитал; что мне с вами секретничать, да кто же может быть ближе к вам брата?» – «О! Константин Яковлевич мой благодетель, я всем ему обязан. Скажите мне, пожалуйста, каким образом сделалось мое пожалование в тайные советники, не знаете ли вы? Не пишет ли вам Константин Яковлевич?» – «Не знаю, но думаю, что, верно, князь просил государя». Напиши мне, ежели знаешь, а не то сам уведомя Ивана Александровича; он раза два этого добивался. Так как шел дождь, а я был в дрожках, то я пробыл у него с час, калякая о всякой всячине. Большой чудак, а только добрый человек.

Все удивляются твердости князя Юрия Владимировича: он закрыл сам глаза дочери и распоряжения делает для ее похорон. В эти лета чувствительность уже иступляется. Говорит, что покойница умерла в больших мучениях и что, кроме всех горячек, был у нее еще рак на спине. Вчера также умерла сестра П.Х.Обольянинова, Симонова, кажется; вдова. Наш бедный Калайдович впал в раж, так что четверо его едва могут удержать. Жаль! А очень способный человек и один из лучших наших чиновников.

Александр. Москва, 12 мая 1828 года

Экая гора свалилась, Демидов. Я предполагаю, что это как если бы великий герцог Тосканский умер. И богатство не спасло от общей участи. Сделал ли Николай Никитич завещание какое-нибудь?

Мне хотелось было обедать в клубе, где будет ужасная баталия: четверо будут говорить речи, а кашу заварил опять Иван Иванович Дмитриев. Ты помнишь, что прошлого года клуб не уважил мнения его, кое было забаллотировано; он не только отказался от звания старшины, но

³⁰ Что через три года женился на Александре Осиповне Россет.

и члена; ему послали билет при просьбе принять его, но он не захотел. Теперь, скучая по вечерам, не зная куда деваться, он, видно, кое-кому шепнул постараться его опять ввести в клуб. По этому случаю готовится большое прение между двумя сильными партиями. Двое старшин сказались больными; Четвертинский, Садыков и Кошелев за Дмитриева, прочие против. Чем-то вся эта комедия кончится? Только я боюсь, чтобы все это не приуготовило падение клуба³¹.

Александр. Москва, 17 мая 1828 года

Не стало моей Николевой! Она скончалась в 10 часов утра. Вчера говорила она мне о многих устройствах своих, просила вернее доставить пакет к брату ее Алексею Николаевичу Бахметеву (вероятно, с завещанием), не более обыкновенного жаловалась на страдание свое, сегодня рано захотела исполнить долг христианский, после хотела... . Надобно думать, что усилия заставили воду подняться, чем и была она задущена.

Надобно было осмотреть все бумаги и ларчики, где нашлось тысяч до восьми денег; кажется, это все ее достояние. Я должен был с Хрущовым заняться всем этим. Племянницу ее, дочь Алек. Ник., что от Шоазельпи, тотчас перевезли к Хрущовым; она не знает еще о кончине тетки. Николева только что переехала в прекрасный домик Муравьевой, Лизонькиной приятельницы. Хрущовы мне предлагают оный, но жену, верно, не уговоришь: ей все будет казаться везде тень покойницы. Жаль мне очень, добрую потерял я приятельницу; женщина была умная, твердая и имела много мужских добродетелей. Как я ни ожидал этого несчастья давно, оно меня поразило, ибо только что не в моих глазах испустила дух. Ее жизнь была роман. Это довольно странно, что она прослыла женщиной ветреною, что была замужем, и притом признанной любовницей покойного Николая Васильевича Обрескова, и, однако же, умерла она девственной. Эта фраза, которую тебе переписываю, была мне не раз повторена ей самою. Когда-нибудь тебе расскажу тайну, вверенную мне ею: это точно роман. Мне смешно было слушать слова одной ее родственницы, которая, плакавши тут, говорила: «Все-таки она была великая грешница, но жестоко расплатилась за свои грехи!» Я думал сам себе: вот как трудно судить о других по наружности.

Нового ничего не слышать у нас. Завтра пять первых докторов должны экзаменовать Турчанинову и при себе заставить магнетизировать, на что и она очень согласна. Теперь будут говорить, что она Николеву уморила.

Александр. Москва, 17 мая 1828 года

Я очень рад прибытию великой княгини Марии Павловны: она будет служить утешением матери. А тебе все хлопоты. Да как не служить царям нашим усердно? Кроме того, что это долг наш, они так признательны за исполнение оногo. Урусова пишет к матери: «Наше путешествие похоже на увеселительную прогулку. Императрица чувствует себя прекрасно, и у нее очаровательное настроение». Архивские птички все разлетаются.

Александр. Москва, 23 мая 1828 года

Мои архивские так и налетают, как саранча, проситься в отпуск. На 28 дней бы ничего; а вот беда, как на месяцы просятся, надобно коллегии спрашиваться. Завтра призываем мы в Архив молодца Соболевского – объявить, чтобы подавал в отставку: рапортуется больным, а бывает на всех гуляньях и только что не живет на улице.

Александр. Москва, 28 мая 1828 года

³¹ Племянник И.И.Дмитриева был исключен из Английского клуба за то, что не только преследовал князя Шаликова насмешками, но и нанес ему оскорбление действием. Обоих исключили из числа членов клуба. Дядя сам не захотел поэтому оставаться членом клуба и возвратил туда билет; но вскоре старшины поехали к нему на Спиридоновку и упросили переменить гнев на милость.

Право, сердце содрогается, видя, что государь, для дрянного этого Браилова, которому не миновать участи своей, так себя подвергает. Об этом только и говорят, и я спорил со многими высшими. Они говорят: как молодому государю, не бывшему никогда в огне, не показать себя молодцом перед войском в первом деле? – «Да помилуйте, разве не показал он себя молодцом 14 декабря? Что за достоинство – быть храбрым? В нашей 800-тысячной армии, верно, 500 трусов не отыщешь; но сколько найдешь ты между храбрейшими из генералов и офицеров, кои показали бы твердость, хладнокровие, присутствие духа государя в этот роковой день?» Право, страшно подумать. Я вспомнил смерть Моро. Ядро, глупо пущенное в кучу генералов, оно не разбирает, кто необходим и кто бесполезен России. Дай Бог, чтобы таковые происшествия не случались более. Жена ахнула, как я читал. «Ох, вы трусихи», – сказал я было ей, да как прочел еще раз, то с ней согласился.

Я получил от Воронцова «Одесский журнал» для первых двадцати шести подписчиков; по оному узнали мы о прибытии в Одессу государя и императрицы, из первых рук; это приголубит подписчиков, коих у меня теперь уже более сорока. Сегодня посылаю Воронцову деньги, прося новых присылок журнала.

Александр. Москва, 29 мая 1828 года

Вчера сказывал мне Владимир Голицын (который, помнишь, выпел у тебя один раз открытый лист с каким-то романсом, не «Черная шаль» ли?), что ему привалило имя: тетка Шепелева отдает ему все, что имеет, и часть, приходящую ей после брата Энгельгардта, который умер. Кстати это, его дела были плохи; авось-либо хватится за ум и перестанет играть.

Сию минуту приносят почту и твой № 64; прибавления печатные взяты из «Одесского вестника», по коему мы уже третьего дня знали, что государь прибыл в Одессу. Эта поспешность приохотит подписчиков; да вообще журнал хорош, и я Воронцову писал: «Я всем повторяю, что не надобно путать «Одесский журнал» с одесским вином, которое отвратительно, тогда как первый очень хорош». То-то, я чаю, Воронцовы хлопочут оба! Дай Бог только, чтобы были здоровы.

Александр. Москва, 1 июня 1828 года

Есть некто капитан Кардацы, грек, оказавший некогда услуги России, но имел разные несчастия, и труд его оставлен без награды. Он теперь очень беден, был у меня, рассказывал все свои приключения, кажется, большой востряк, но добрый человек и уже в летах. Писарев ему советовал составить брошюрку. Вот она. Теперь бы ему быть в Греции, но нечем собраться, а хочет он ехать в Варшаву. Цесаревич его знает лично, а Курута протезирует. Я буду стараться ему что-нибудь собрать. Не даст ли кто-нибудь в Петербурге? Всякое даяние благо. Я дал ему 25 рублей; больше где взять? Он очень был доволен.

Александр. Москва, 7 июня 1828 года

Мне надобно ехать и в Архив, и в собор, где молебствие по случаю перехода авангарда нашего через Дунай. Известие это получено князем Дмитрием Владимировичем от графа Толстого по эстафете. Надобно помолиться за наших.

Письмо запечатаваю в Архиве. В соборе было очень много народу, и все усердно молились. После молебствия я заходил к Филарету в алтарь, показывал ему медаль; он очень благодарил, любовался и сказал: «Вот и чужестранцы русских на русском же языке восхваляют; а кто знает, не будет ли когда-нибудь русский язык в таком же употреблении, как бывал испанский, латинский, а ныне французский?»

Александр. Москва, 9 июня 1828 года

Давно обещал я Лодеру, да и самому хотелось, посмотреть заведение искусственных вод. Встал сегодня в 6 часов и отправился, позавтракав, туда. Там нашел я Лодера, который в меня впился и все мне прекрасно показал, но продержал все почти утро. Надобно сознаться, что все устроено прекрасно, по-моему – лучше, нежели в Карлсбаде; есть комнаты в доме, галерея с защитой от солнца и дождя, род террасы, и, кроме того, обширный сад. Я нашел множество дам и кавалеров, более 130 человек. Я уверен, что заведение это процветет, как дилижансы. Тут видел я всю семью без изъятия Киндяковых, Высоцких, графиню Кутайсову, Васильеву, Бехтеевых, Хрущова, Абазу, Ржевского, Вейтбрехта, Вареньку Трубецкую, которая ужасно худа и переменялась, Нечаева, Жихарева; этот собирается пить тоже.

Александр. Москва, 12 июня 1828 года

Я сию минуту из собора, любезнейший друг. Куда как все усердно молились, а Филарет со слезами благословлял крестом, когда провозглашали многолетие государю. Князя Дмитрия Владимировича не было, однако же, на молебствии. Видно, нездоров. Тут был князь Яков Иванович Лобанов, коему пересказывал я подробности, тобою сообщенные; они неизвестны здесь. Звал к себе на битву бильярдную и обедать сегодня. Пушусь; я люблю этого старика: всегда весел и шутит. С каким удовольствием перечитывал я подробности наших успехов. Ай да шах! Другие государи позавидуют уважению, которое умел государь наш вселить в непросвещенного шаха.

Говорят много о каком-то чудовище-медведе, имеющем 4 аршина вышины, когда становится на дыбки. Иван В. Чертков зовет с собою на травлю завтра, но я, признаться, не охотник до этих зрелищ.

Александр. Москва, 13 июня 1828 года

Славно идут дела наши с турками! У меня, брат, одно только опасение, что султана свои удавят; тогда-то может завариться каша, и союзники как бы не перессорились при разделе пирога. Надобно полагать, что Махмуд одумается и согласится на наши умеренные и справедливые требования.

В целом городе не могу найти карты турецкой. Сделай одолжение, пришли мне театр войны нашей. Единственная, которую имею, – это тобою подаренная, но это токмо почтовая, а в городе такая дрянь, что даже и Анапа не означена. Как глупы наши книгопродавцы, что не запасутся картами хорошими! Какая это карта делается по подписке? Я бы желал подписаться для Архива, а ежели хороша, то и для себя также. Побегу к Киселевой – поздравить ее с генерал-лейтенантством Павла Дмитриевича: то-то обрадуется!

Александр. Москва, 14 июня 1828 года

Киселева семья в восхищении от чина Павла Дмитриевича; без этой войны долго бы ему дожидаться производства по старшинству. Отличие, сделанное Витгенштейну, также велико, но и дела войск наших славны. Сообщай-ка почаще такие успехи, мой милый и любезный друг. Я уверен, что Грейг и Меншиков не ударят лицом в грязь, и полагаю даже, что Анапа будет взята прежде Браилова.

Фавст уехал на три дня в Петелино, где копает пруд; жалуется, что болен и нога одна распухла, надел башмаки прошлого столетия и преуморительные панталоны летние. Этот не будет никогда щеголем. Нелегкая догадала его купить орган с музыкой; когда к нему ни придешь, дети немилосердно по очереди играют, так что голову расстукивают. Я ему стал выговаривать, так он отвечал: «Молчи лучше; отец твой, право, умнейший был в мире человек, а уж верно умнее меня с тобою, да и у того были, помнишь, органы?» – «Был, да не целый же день в них бренчали, как у тебя теперь». – «Пусть, душечка, дети забавляются: это сделает ухо их

музыкальным». – «Держи карман! Выбрал все такую дрянь, а еще по заказу: «Реченька», да «Камаринский», «Веселая голова» и проч.»

Александр. Москва, 16 июня 1828 года

Обедал я у князя Якова Ивановича [Лобанова-Ростовского]; играли в бильярд. Я приобрел 100 рублей, потащил он меня на пруды гулять; было немного. Откуда явился вдруг Савельич, в каком-то женском капоте, на голове род скуфейки бархатной, украшенной левкоями и розанами, начал петь, любезничать и собрал около себя человек 100. Только старым становится; поплясал немного и так запыхался, что насилу отдохнул.

Вечером заехал на минуту в Английский клуб, где нашел Вяземского, с коим более часу проболтал.

Когда увидишь Закревского, за меня поцелуй. Здесь распустили глупый слух, будто он прислал сюда чиновника запечатать заведение вод искусственных яко вредное для пьющих оные. С этого я полагаю начать бы; а позволив раз, как же запечатать? Это все выдумки противной партии, то есть тех докторов, кои завидуют успехам заведения и барышам Лодера и компании.

Александр. Москва, 18 июня 1828 года

Навеселился я, любезный друг, у Хрущовых. Время было бесподобное, и туда ехали так весело, что не видали, как проехали 22 версты. Сидело нас четверо в 4-местной карете: Жихарев, князь Иван Ал. Лобанов, Афросимов и я. Почти подъезжая к Усову, Жихарев приметил, что кучер (извозчик наемный) качается. Что такое? Вышло, что он мертво пьян. – «Помилуйте! Я? Как-с, какой я пьян? Меня закачало от дороги...» Только на ухабе вдруг сбросило его под колесо с козел. Лошади, к счастью, остановились, да и фореитор, племянник его, всю дорогу, бедняжка, все ехал, оглядываясь, и, увидев, что почтенный его дяденька упал с козел, тотчас остановил свою пару, отчего и те четыре также остановились. Мог бы убиться до смерти. Таки силою влез опять на козлы и благополучно нас довез. Как эти люди живы! Вообрази себе, что пьяный, просидев два часа на козлах в зной такой, в поту, как был, кинулся в Москву-реку, пьяный купался, плавал, вышел из воды и голый лег на траву под деревом спать как ни в чем не бывало. Стали ему выговаривать, так он отвечает: «Да ведь наше дело мужицкое, у меня не барская кровь; слава Богу только, что кто-нибудь не сшалил, да платя у меня не украл». Заставили нас там есть, пить, гулять, играть в мушку. Надобно было и поужинать, и мы в Москву возвратились в три часа пополудни.

Число пьющих воды видимо прибавляется. Три недели тому назад было 120, а намерен Лодер говорил, что 170 с лишком. Вот более 15 тысяч, ежели и по 90 рублей полагать; а теплые воды по 100 рублей, а холодные по 80 рублей в месяц, не считая ванн, кои по 10 рублей каждая. Многие чувствуют великое облегчение. Хрущов сказывал мне, что, по приказанию Алексея Петровича Ермолова, он купил для него подмосковную в 22 верстах от Москвы, по Можайке, и заплатил 40 тысяч; очень хвалит. Ермолов хочет основаться здесь. Это славное приобретение для нашего общества.

Ох, звал больной Василий Львович к себе обедать сегодня с Вяземским; не знаю, решусь ли ехать. Далеко в Слободу, да и устал я от поездки загородной; хотелось бы отдохнуть. Увижу, как отделаюсь в Архиве. Я вчера сделал глупость. Хрущов дарил мне славную лошадь для завода, у них тут тоже завод в подмосковной, я поцеремонился; но дело можно еще поправить.

Александр. Москва, 19 июня 1828 года

Пфеллер явился; приступает все, чтобы я воды пил. Ежели делать, то уж порядочно, теперь не могу никак. Старик хочет тебе жаловаться. В будущем месяце можно будет подумать об этом. Большая на них мода теперь, князь Дмитрий Владимирович и княгиня его тоже начали

пить. Не помню, сообщал ли я тебе остроту Посникова. Сидит он в Сенате, видит Дурасова, возвращающегося с вод. «Ба! – говорит Посников. – Должно быть, поздно». – «А что?» – «Да вот и скотина возвращается уже из водопойла». – С будущей недели будет там и музыка, как в Карлсбаде.

Пфеллер мне сказывал, что племянник его, адъютант графа Чернышева, был отправлен на какой-то завод; он послал оттуда эстафету к своему генералу, эта эстафета была около Торжка ограблена. Скажи это Чернышеву, ежели его увидишь, чтобы он Пфеллера не считал неисправным или умершим. Может быть, пишет тебе и Рушковский об этом.

Александр. Москва, 21 июня 1828 года

Поздравляю тебя с победами; но желательно, чтобы славный мир избавил бы нас на будущие времена от нужды брать штурмами проклятые эти турецкие крепости, которые много уже стоили русской крови. Также прислал мне Воронцов письмо рейс-эфенди к французскому послу в Корфе, с коим задирают турки негоциации. Это хорошо, лишь бы не мешало продолжению военных действий.

Вигель приехал из Одессы, долго у меня сидел и много рассказывал. Воронцов царски угощает императрицу, которая изволит жить в его доме³². Сервизы, серебро, фарфор, хрусталь, столовое белье, все хозяйское, и все новое, с иголки, – все обдуманно для покоя и удовольствия государыни. Император чрезвычайно ласкает Воронцова. С маленьким сыном его был спор у государя. «Ты не любишь папеньку!» – «Люблю». – «Нет, не любишь, я знаю». – «Нет, ты врешь, я тебя прибую, я люблю папу». Только государь стал продолжать шутку, а мальчишка так рассердился, что схватил песку горсть (спор был в саду) и бросил государю в лицо, а государь ну смеяться, повторяя: «Я виноват, защищал неправое дело»; а Воронцов испугался, не попало ли песку в глаза императорские.

Кажется, что Митюша Н. [Нарышкин] не останется на своем месте и что Вигель будет губернатором; он малый умный и сведущий.

Александр. Москва, 22 июня 1828 года

Браилов взят, не без жертв; но как же быть? Очень тебя благодарю, что не поленился ты выписать слова великого князя. Мы читали это с восхищением. Такие подробности тем приятнее и любопытнее, что они не помещаются в официальных реляциях. В короткое время государь мог изучить всю военную науку, одну только ему неизвестную на практике. Он был на сражениях сухопутных и морском, видел осаду, сдачу важной крепости, переход через большую реку целой армии. Порядочный курс, можно всему научиться.

Насилу уехал Чумага. Я ему читал известия из армии, письмо рейс-эфенди к Вильемино, присланное мне Воронцовым, с коим он задирает неготацию, приглашает обратно в Царьград; но это манера этих плутов: все делают уверения и пакости. Ежели подлинно хотят мира, то на что им французы и англичане? Дорога к миру им указана в нашем манифесте. Пусть пошлют уполномоченных в главную нашу квартиру. Чумага посылает тебе почтение свое, а нас всех зовет к себе завтра в Останкино обедать. Добро! Вспомню твое, наше там житье.

Александр. Москва, 23 июня 1828 года

Третьего дня случилось здесь трагическое происшествие: две сестры, обе замужем, мужа в отлучке, одна здесь, другая в подмосковной. Здешняя занемогает, посылает за тою; та приезжает, находит сестру уже умершею, кидается на тело, лобызает его и на нем тут же дух

³² Этот дом на углу одесского Приморского бульвара был тогда только что отстроен. Императрица жила в нем с девятилетней великой княжною Марией Николаевной, которую учила русскому языку племянница Жуковского, супруга одесского карантинного начальника Анна Петровна Зонтаг.

испускает. Обоих кладут на один стол, в одно время хоронят и в ту же могилу кладут. Одна из них – Гурьева какая-то, а другая – не знаю, за кем. Но столь трогательная, нежная черта любви стоит того, чтобы подробнее разведать. Расспрошу, правда ли? Может быть, и прикрашена история.

Александр. Москва, 25 июня 1828 года

Поздравляю тебя с радостным для России днем сегодняшним [день рождения Николая I; ему пошел тогда 33-й год], мой милый и любезный друг. Уж верно, усердно все помолятся в соборе за государя, пожелают ему всех благ и благополучного окончания войны. Надобно быть в церкви, в Архиве на минуточку, а там обедать у князя Дмитрия Владимировича. Вчера Иванов день, праздник на Трех Горах и на прудах; но последние вздумалось Юсупову теперь чистить, спустили воду, отчего сделалась ужасная вонь, а потому и пустились все на Закревского дачу, где была бездна народу. Граф Федор Андреевич [Толстой, тесть Закревского] показывал мне дом; славно отделан, то есть расписан, ибо мебели еще нет, только книги в кабинете Арсения Андреевича, откуда прекраснейший вид. Такой дом хорошо бы иметь и среди столицы. Расположен он хорошо и обширен, все любовались чистотою. Я заметил вещь странную: нет ни солдат, ни караульщиков, а никто не смеет ходить по дорожкам или топтать траву, как бывает во всех садах, для публики открытых. Я видел в этом какое-то особенное уважение к хозяину. Одно не одобрял я: плотиков много, и они нужны, ибо много островков, но они так легки, что тонут, а это очень неприятно для дам: мочат себе ноги, у иной и башмаков не видать, как только чуть лишняя тягость.

Я и не знал, что Алексей Орлов там. Ежели тонуть ему, то разве в Неве или на Мойке, полагал я; а вместо того ему сдается Мачин. Бибиков славный сделал прыжок, будет помнить Браилов; авось-либо и Анненкову достанется курьерство такого же рода. Ай да мусье Серж! Я, право, душевно порадовался записке князя Сергея Ивановича [Голицына, мужа двоюродной сестры Булгаковых], только тыканье с тобою на французском диалекте показалось мне смешно. То-то, я чаю, вся семья радуется и рассказывает о чудесах ихнего Сергея Чудотворца! Правду сказать, Бог Чижики нашего наградил славными ребятами.

Ты слышал ли, что князь Егор Алек. Грузинский скрылся, как Уваров [женатый на сестре декабриста Лунина]; иные говорят, что он утопился, удавился, а другие – что бежал в главную квартиру, чтобы броситься в ноги к государю. Его судят за какие-то проказы и преступления. Давно тучи висят над ним.

Александр. Москва, 27 июня 1828 года

По причине засухи и жары, были молебствия с коленопреклонением; намолила же себе Москва дождя! Возвращаясь из Архива, заехал только на минуту к Обресковым, торопился домой. Москва была окружена черными облаками; сидя в Архиве, видел я уже вдали тучу, подвигающуюся тихо из-за Поклонной горы. Хотим встать из-за стола, вдруг ветром открыло окна в зале; только что успели закрыть, пошел дождь, и не каплями падал, а точно лило как из ушатов, так что в 20 минут против нашего дома не видать было мостовой, а текла речка выше гораздо тротуарных столбов. Ворота не вздумали, да и не успели закрыть; двор ниже улицы, вдруг хлынула туда вода и вошла в погреба, подвалы и кухню; из последней кучер князя П.А.Хованского и два пильщика, пришедшие из деревни за деньгами, не могли уже выйти, и их вытащили в окно. Ветер дул с ужасной силой, молния сверкала, и гром часто падал; долго шел и град, только некрупный. Дети плакали, Наташа увела всех в свою спальню, зажгла свечи перед образами и давай Богу молиться, между тем как люди наши, идучи по колена в воде, старались спасти что можно. Лошадь, которая в коровьем хлеву, подмытом водою, тонула, они вытащили и спасли. Ворота с ужасными усилиями успели они затворить и рогожами запрудили все щели, так что вода на дворе немного уже прибавлялась. Забор против нас повалился. У Митькова

и Карцева снесло крышу, наша уцелела, а только ставни оторвало. Беда та, что вода, не имея стоку, все одинаково у нас стояла. Что делать в таком положении? Я велел прорубить забор, несмотря на крики Карцева управителя, и спустил воду к нему, советуя ему так же поступить с его соседом. Тут Божие наказание, надобно же что-нибудь делать и себя спасти. У Салтыкова против нас весь двор преобразился в большое озеро, а по мостовой мимо нас, или, лучше сказать, по реке этой, несло бревна, дрова, бочки, сальные свечи (видно, разбило завод где-нибудь или лавочку), собак и проч. Ужас! Точно было маленькое изображение вашего ужасного наводнения. Этой картины долго не забуду. Дождь этот продолжался часа полтора, от четырех часов до половины шестого.

Когда прояснилось, я взял извозчика и поехал по городу. Не видать было почти дома без повреждения. Из пяти домов, верно, четыре с открытыми крышами, с поваленными трубами, заборами, воротами и проч. Древние орлы кремлевских башен или снесены, или погнуты. Гром, ударя в Ивана Великого, отбил угол вверх и убил звонаря, который собирался благовестить к вечерне. Большая часть крестов на церквях снесены, погнуты или повреждены, как то: в Успенском соборе, Космы и Дамиана, Спаса в Песках, а у Симеона Столпника снесло среднюю большую главу, и при мне подняли крест на улице. У тестя моего снесло ворота, и их нашли у Пречистенских ворот. В Оружейной палате купола среднего как бы не бывало, в Большом театре, в экзерциргаузе сорваны железные крыши, а в Арсенале почти вся крыша унесена ветром. Александровский сад представлял озеро, из коего торчали деревья. Верх одной из башен кремлевских (угольная к Каменному мосту) сорван. Вот что я сам видел, а мало ли еще было бед в таком обширном городе, как Москва. Обер-полицмейстер ездил по городу, чтобы узнавать, что в каждом месте происходит. Нам убытку по крайней мере было ста на три; где тонко, тут и рвется! Слава Богу, что мы все живы и здоровы. Всех храбрее был Пашка [младший сын А.Я.Булгакова]: ни грома, ни дождя не боялся. Бедные мои люди все перемокли. Я им дал 25 рублей, послал их в баню и велел чаю напиться. Их усердие спасло нас от больших бед.

Оставим-ка эту материю, а поговорим о твоих славных вестях. Ай да Орлов! Ай да Ридигер! Ай да Мадатов! Вот тебе и Ктостенджи, где хотели упорно защищаться. Я думаю, что, прежде Шумлы, мы нигде не найдем сопротивления.

Я и князя попотчевал хорошими вестями. Граф Ф.А. удивляется, что не присланы к нему известия сии, уверяя, что зять обо всем его уведомляет исправно всякий день. Сомневаюсь! До того ли Закревскому! Да у кого на свете есть такой корреспондент, как у меня?

Только что я встал, явился комиссар с рапортом, с коим и поехал я в Архив. Надобно думать, что две бури слились вместе, ибо часть нашей крыши очутилась на дворе Межевого казенного дома, а их крыша – у нас в Архиве. Не мог это произвести один и тот же ветер. Говорят о многих убиенных: у Богоявления убило солдата полицейского на улице, а на Самотеке – женщину: странно, что грудной ее ребенок найден живым и спящим возле матери. Как его не потопило? Видно, положено ему умереть от старости. Много гром наделал бед. Одно меня удивляет: отчего столько погнуло крестов, кои не могут представлять сопротивления действию ветра. Крест церкви Троицы на Хохловке, что против Архива, стоит набок, на множестве других церквей то же видно. Молния зажгла было флигель в доме заики князя Д.П.Волконского, но пожар утушили тотчас. Киреевский, наш архивский, сказывал теперь, что мезонин их дома снесло и сбросило на чужой двор, разбив вдребезги. Сегодня, несмотря на солнце, воздух очень свеж, и я надел опять свою фланель.

Александр. Москва, 28 июня 1828 года

Сию минуту с молебствия, бывшего в соборе в честь взятия Мачина, Ктостенджи и Гирсова, мой милый и любезный друг. Всех удивляет, что не празднуют взятие Браилова, полагая, что неполучение еще ключей сей крепости не есть резон откладывать молебствие.

Князь не знал ничего о взятии Анапы. Мне пишет Щербинин, что Грейг занял эту крепость 12-го и что гарнизон военнопленный отправлен уже в Керчь, и молодой Толстой везет ключи к государю. Это славная весточка. Теперь Грейг и Меншиков могут направиться к Варне.

Ну, брат, только и речи у нас, что о буре, бывшей во вторник. Полагают, что убыток, причиненный целому городу, должен простираться до миллиона рублей: нет дома, в коем не было бы хоть на 100 рублей повреждения.

Вот тебе изображение церкви Николы в Гнездниках, что в Леонтьевском переулке, я Ванюшке велел это с натуры срисовать. Вся эта глава висит на каком-то железном пруте; хорошо, что не на улицу, а то, упав, убить бы могла проходящих или проезжающих. Убито в целом городе только три человека, благодарение Богу!

Марья Павловна и прежде кончины тестя своего, верно, царствовала уже над всеми веймарцами, по крайней мере над сердцами их. Это совершенный ангел. Я никогда не забуду, что она мне сказала о тебе, когда я имел счастье быть ей представленным в Петербурге.

Хочется мне отвезти своих послезавтра, а то они без меня никогда не сберутся. Надобно и им, бедным, поглотать чистый воздух, а я по возвращении Малиновского отправлюсь отдохнуть в Семердино. Говорят, что граф Аракчеев гостит у Малиновского в деревне.

Александр. Москва, 29 июня 1828 года

Филипп Вигель точно несколько странен: оставил Керчь, но Воронцова оставить никак не хочет. Князь Дмитрий Владимирович прислал звать на маленький бал в воскресенье в доме Головкина³³, где он живет для соседства вод, но вряд ли буду: хочется своих отвезти в Семердино. Здесь и душно, и скучно, и убыточно.

Александр. Москва, 2 июля 1828 года

Алексей Федорович приехал, говорят, вчера вечером; но я будто не знаю, да и разведывать не стану. У него гостил приятель Закревского Аракчеев, они вместе ездили в Царицыно и Коломенское.

Ездил я на частную вечеринку во фраках к князю Дмитрию Владимировичу, где довольно было скучно. Он живет, для соседства вод, в доме Головкина на Остоженке, и в 12 часов все было уже кончено; играли только в два стола. Сад был иллюминирован, и в нем играла музыка. Видел я тут графа Ф.А.Толстого, который обыграл всех в муху. Ничто не доказывает так безденежье теперешнего, как дом этот. Он продается за 80 тысяч, а, верно, на 200 тысяч не сделать все то, что теперь есть. Это дворец, а не дом; одних ковров, живописи на плафонах, зеркал, мебели тут на 80 тысяч, а дом даром.

Слышал ли ты, что горцы сделали набег на всех; ехавших от теплых вод на кислые? Тут попалась и Марья Ивановна Корсакова, которая была ограблена до рубашки, а какого-то полковника убили. У Корсаковой ни минуты без авантюр.

Я сюда думаю возвратиться 6-го или 7-го, надобно петь панихиду на батюшкиной могиле, а 8-го опять возвратиться в Семердино праздновать Казанскую, именины нашей деревни. Всякий год стечение народа более и более умножается. Менее 1000 посетителей никогда не бывает.

Александр. Семердино, 4 июля 1828 года

Ну слава Богу, мы все здесь! Вчера вечером прибыли мы сюда благополучно, мой милый и любезный друг. От заставы до места провожал нас все дождь. Это маленькое беспокойство было вознаграждено радостью крестьян, которые молили о дожде и уверены, что мы привезли

³³ Это на Остоженке, где позднее был Катковский лицей. В тамошнем саду имелась не искусственная, а минеральная вода, найденная покойным князем В.Ф.Одоевским.

им изобилие. Хлеба и травы прекрасны. Наташа наготовила мне множество самых приятных сюрпризов. Кабинет мой отделан с большим вкусом на китайский манер, все очень хорошо придумано для моего покоя. Я очень был бы доволен иметь такую комнату в Москве. Для белья, письма, трубок, бумаг – одним словом, для всего все придумано. Передо мной портреты: твои, детей твоих, семердинского помещика и жены его. Это все мастерила она сама с Ванюшкой. Кроме этого, нашел я дом, на каменном фундаменте поставленный, новую прекрасную баню, конюшни и сараи каретные, новый людской флигель, – все это крыто тесом, в роще новый мостик. Все это очень меня и обрадовало, и удивило, и все это мастерилось, покуда я был у тебя в гостях.

Александр. Москва, 7 июля 1828 года

Известия из армии очень хороши. Неужели султан не попросит мира? Никогда турки не находились в столь критическом положении, ибо Россия давит их всеми своими силами, нигде не развлеченными, как бывало то при Екатерине. Этого мало: Англия и Франция связаны с нами трактатом, против такого союза Австрия не пикнет, а шведам что делать одним? Их один Закревский и остальная часть гвардии урезонить смогут. Стало быть, все России благоприятствуют. Такой гибельной минуты не было никогда для турок.

Александр. Семердино, 9 июля 1828 года

Я опять здесь, мой милый и любезный друг. Плохо было ехать, дождь не переставал лить, так что я должен был ночевать в Талицах и сюда попал только рано поутру к самому празднику деревенскому, Казанской. Тесть сказывал мне, что многие собирались было ко мне, но за дурной погодой отложили. Однако же двое таки были: Кобылинский, молодой человек, служащий в Воспитательном доме, и Алексей Иванович Нарышкин, сын Ивана Александровича, что женат на Хрущовой. Уж это подлинно жертва – приехать в такую погоду, и мы не знали, как благодарить и получше угостить. Вчера то разгуляется, то опять пойдет дождь, но праздник все-таки шел своим порядком, много было народу: бабы орали, мужики пели, а ребятишки дрались за пряники. Я гостей надувал, привез славные фрукты из Москвы, а их уверял, что это из своих оранжерей. Не стоит труда их иметь: фрукты ужасно дешевы. Я купил 25 слив, 25 персиков, 25 абрикосов, 500 шпанских вишен и дыню (да все это отборные) и за все заплатил только 20 рублей. Вечером стало тихо, и мы сожгли фейерверк, а шутихи своим порядком летали в кучках народных; они так приучились, что не боятся их уже. Гости у нас переночевали, а теперь отправляются домой. Вот и коляска запряжена, дан им проводник до Троицы. Мы собирались все туда пешком послезавтра. Помолимся и за тебя, и всех твоих.

Александр. Семердино, 18 июля 1828 года

Ай да праздник задали Воронцовы императрице! Какая новая и прекрасная мысль – представить высадку Танкредовой флотилии; это уже не театральное представление, а сама натура; на это надобно было море, примадонны, а более всего – догадка Воронцовых. Счастливая мысль, а хорошая погода увенчала праздник. Мне также это описывает Щербинин, по приказанию графа, который слишком занят, чтобы писать ко всем. Благодарю очень за письмо князя Петра Михайловича и возвращаю при сем, а в Москве распустили слух, что князь послан в Бухарест сражаться с чумой. Жаль, что не был я в Москве, а то сообщил бы тебе свежее известие, полученное Кушниковым от зятя его Сипягина, о покорении крепости Карса; видно, пробираемся к Ерзеруму, то есть душим Махмуда с обоих концов. Пора бы ему взяться за ум и заключить мир поскорее, а признаюсь, все желаю, чтобы прекрасная София³⁴ в святой Софии

³⁴ То есть княжна Софья Александровна Урусова, фрейлина императрицы Александры Федоровны, позднее княгиня Радзивилл.

помолилась на коленях и поблагодарила Бога за успехи наши. Я это все твердил маменьке ее, княгине Урусовой. Беда, чтобы султан не узнал об нашей красавице; а то велит ее увезти, или при замирении отдаст за нее одну полцарства своего. Неправда, что горцы увезли Корсакову-дочь.

Александр. Семердино, 28 июля 1828 года

Ох, пообедал бы я с тобою у Кутузова, послушал бы их рассказы о Екатерининском царствовании! Это страсть моя, я же люблю, что замечательно и записывать, а твой князь куда какой мастер рассказывать. Пожалуй, при случае обоим екатерининским камер-пажам³⁵ и обожателям, как я, скажи мое почтение. Воронцов, который напечатал в «Одесском вестнике» письмо мое к нему о бывшей в Москве 26 июня буре и проказах ее, пишет ко мне редко; да и глупо было бы мне требовать от него частого писания, при теперешних его заботах, но зато спасибо Щербинину: очень аккуратно пишет и сообщает все вести тамошние. Мне Воронцов рассказывал о своих неприятностях с Потье, манычаровским генералом, строившим в Одессе карантин, но теперь вижу по сенатским газетам, что Потье и его товарищи сильно наказаны, по приказанию государя. Есть же люди, кои и с Воронцовым ужиться не могут! Должны быть уроды. Воронцов должен сожалеть, что губернаторствует, а не турок колотит: это лучше, нежели трактовать с ними о делах.

Я читаю теперь «Историю» Карамзина. Храбрый Святослав воевал в тех же местах, где войска наши теперь. Силистрия тогда Доростолом называлась, и наши так же колотили печенегов, болгар и греков, как мы теперь турок. Нашел я также предсказание, которое чуть ли не сбывается, выпишу тебе это на особенной бумаге. Слог Карамзина очень приятен, видно перо и чувство человека доброммыслящего.

Александр. Семердино, 31 июля 1828 года

Наташа и дети давно меня упрашивают идти вместе пешком к Троице. Вчера мы, встав в пять часов, позавтракав, вооружась посохами, пустились с большей частью двора в путь. День был серый, тихий. Мы полагали, что и хорошо, что солнца нет, не так будет жарко идти, а карете велели себя догонять с Пашкою, когда он проснется. Три версты шли хорошо, только в лесу к деревне Алексеевской настиг нас дождь; мы долго укрывались под большим дубом, но дождь шел все сильнее, начали мы промокать.

До деревни была верста. Собрали военный совет; я объявил, что последний скажу мое мнение, чтобы всякий свое свободнее излагал. Уж пошли, так идти вперед, – сказали дети. Наташа была мнения идти в Алексеевскую укрыться от дождя, а там подумать, что делать. Россини* объявил, что он идет прямо к Троице, несмотря ни на что; он был в красных легких сапожках, которые от грязи и воды все вымокли и почернели. Старушка одна монахинь-ка и Поля-девушка просили идти с Россини. Тут я объявил, что все бредят, что не было обещания, ни клятвы в такой-то день идти непременно к Троице, что все занемочь могут, а что надобно воротиться и идти навстречу карете, а богомолье отложить до хорошей погоды. Россини отправили мы в поход, а сами вернулись; дождь все увеличивался. Наконец слышим колокольчик, является карета. Всех нельзя было посадить в нее. Катя захотела непременно идти со мною пешком домой, уверяя, что движенье лучше и что, промокнув до рубашки, более будет зябнуть в карете. Ну хороши были мы, воротясь домой!

Хотя Катя вся переменялась и вымылась вином простым, но простудилась: заболела щека, шея, жар, и она два дня лежала в постели. Теперь, слава Богу, лучше, и завтра выйдет из комнаты. Хорошо, что я не послушался дур этих: все бы слегли не на шутку, и теперь иначе не пойдем опять, как в самую прекрасную погоду. Россини воротился вчера с лихорадкою,

³⁵ А.Н.Голицыну и П.М.Волконскому. Учитель музыки и настройщик фортепьяно, живший у Булгакова.

которую я вылечил стаканом, то есть бокалом пуншу и банею. Я стал смеяться его сапожкам сафьяновым, а он мне в ответ: «Ничего-с! Ведь со мною были еще башмаки». Мы ну пуще хохотать, а он очень серьезно: «Да ведь башмаки-то на толстой, двойной подошве. Это как бы пистолеты для взятия Браилова, да пистолеты не дюжинные, а кухенрейтерские». Каков чудак! Если бы не болезнь Катеньки, это паломничество сильно бы нас позабавило.

Я видел из приказов, что Андреевский просто отставлен; по этому догадывался, что ему худо, а Монтрезору хорошо. Точно говорят, что очень нечисто дело это. Вот, как всегда, правда таки торжествует. А Андреевский все напускал на себя в Москве важный вид, будто не хочет быть сенатором, предпочитая оставить службу.

Дела турецкие идут хорошо; видно, предвидятся успехи и славные дела, что Дибич и Бенкендорф Александр вступили в ряды сражающихся. Шумлу, кажется, обошли. Я вижу, что наши заняли Цареградскую дорогу. Лишь бы зависть не вооружилась против нас, боюсь англичан и Меттерниха. Первые, кажется, дома озабочены довольно, а австрийцев можно урезонить. Меня удивляет беспечность султана. Куда девалась его деятельность? С прискорбием вижу, что был заговор против Каподистрии; да чего ожидать от этих разбойников? Они должны очень досадовать, что Каподистрия истребляет их грабежи на море.

Александр. Семердино, 15 августа 1828 года

Благодарю за армейские вести. Вот государь и в Одессе, и на некоторое время. Мне все чудится, не сладят ли там конгресс, и Воронцова посадят первым уполномоченным, чего я, однако же, не желаю, это было бы в пользу султана, а не нашу. Да наш государь молодец: конгресс бы не мешал нам идти вперед. Я видел с удовольствием, что в «Журналь де деба» есть статьи против нас, кои другой государь, как наш, верно бы, не пустил в публику; но Николай I имеет что-то великое, действует и храбро, и великодушно, презирая толки, догадки. Славно идут дела Каподистрии, а как были плохи. Бог моих греков выручает. Как хорошо письмо Каподистрии патриарху, в ответ на его предложение покориться султану! Веллингтон и Меттерних играют какую-то двуличную роль. Смерть Каннинга положила начало падению Англии; влияние ее заметно упадет. Английский новый посол – мой приятель; мы были вместе в Неаполе секретарями посольств. Тогда он назывался S. William a Court. Он был очень язвительным, но не обещал больших способностей. Я боюсь за старика Варлама: в Бухаресте зараза не прекратилась. Отчего мы не посылаем агента в Грецию, как французы? Кажется, хорош бы был на это место Булгари или Катакази.

Вчера прогуливаюсь я верхом возле деревни Кресты, у пашни, вижу ребенка, четырех или пяти лет, бегущего ко мне, крича: «Ай, батюшки», – да во все горло. Я к нему подъехал и вижу, что с одной стороны бежит за ним мать, а с другой – престрашный волк. Я ребенка тотчас поднял к себе на лошадь, он дрожал и всего меня, с позволения сказать, от страха обделал. Волк бежал тихо, не ду мая его трогать. Такого большого я не видывал; я его проводил до опушки леса, куда он и скрылся. Много этих злодеев гуляет что-то. Сегодня мать принесла мне на поклон из благодарности полотенце. Я его взял и буду хранить, как почетное знамя.

Александр. Москва, 22 августа 1828 года

Поздравляю тебя, любезный друг, с радостным днем, который празднует сегодня Россия. Я вспоминаю коронацию. Тогда были мы вместе, и я к самому этому дню выздоровел после своей горячки. Всякий год Россия все усерднее молится за своего государя, потому что всякий год делается он ей драгоценнее и более заслуживает любви ее.

Я восхищался ласкою доброй императрицы. Славно она шутила насчет султана, коему жутко приходится. Я все боюсь, чтобы его не убили; тогда последует безначалие, коего последствия будут гибельны для всех, и сами союзники могут перессориться. Бог все устроит к лучшему и к славе нашего государя. Молебствиям нет конца, беспрестанно наряды от полиции –

являться в собор для благодарственных молебнов. Голицыны звали сегодня обедать, но я велел сказать, что я в деревне. Благодарю за сообщение известия от графини Воронцовой. Ай да Алексей Самуилович [Грейг]! Сказано – сделано. Теперь Варна должна одними сухопутными своими средствами действовать. Я понимаю, что эта война должна вдохновить душу наших солдат и моряков: беспрестанные успехи везде. А какая скромность! Сделай все это французы, уж как бы себя хвалить стали!

Вчера я от скучных каких-то гостей, обедавших у Фавста, уехал к Мамоновой; нашел ее в рубашке. Не моя вина: двери все были отперты, и ни одного человека. Вот, небось, эдак Завадовскую не удастся застать! Могу тебе засвидетельствовать, что она еще хуже меня. Накинула на себя салоп, и я посидел у нее. Тащила с собой в театр, но я не поехал: времени мало, а дела у меня много, но должен был обещать сегодня обедать у нее. Собиралась к нам к 26-му, но не очень здорова. Да коли ждать ей здоровья, то придется никуда не ездить целый век. 15 сентября собирается к Троице и в Ростов, тогда и к нам заедет на двое суток. Смотрит все дома, то есть дворцы, для брата, и все не может найти ни одного достойного его вмещать. Все так же рисует себя и петушится с двумя своими красивыми лакеями; жалуется, что все в доме ее спились.

Здесь умер, а иные говорят – отравил себя начальник жандармов Дезопис, истратя 38 тысяч казенных денег. Волкову хлопоты, тем более, что Бенкендорф хотел Дезописа отставить давно, и Волков, по доброте своей, отстаивал. У того гроша не осталось. Как бы на Сашку нашего не пала эта беда.

Александр. Семердино, 27 августа 1828 года

Наталин день мы славно вчера пропраздновали. Была вся семья Брокеров, Демидов, священник фряновский и Фавст в довершение дела. Сегодня едем мы с ним к Брокеру на целый день, а оттуда отправится он в Москву. Народу бездна нашло из окрестностей, всех потчевали вином, обед был славный; а там пошли разные забавы, которые кончились маскарадом и маленькой пьескою, в которой особенно отличился Ванюшка, игравший роль мусье Сэту, прыгуна на канате, сделавшегося учителем у одного глупенького помещика. Как водится, на конце куплеты. Я тоже играл роль управляющего. И Пашка играл также, а Ольга и прекрасно. Наташа очень была довольна. Вообрази, что все это составили мы в сутки. Все мы играли в масках. Одним словом, очень было весело. Сегодня 19 лет, что я женат: надобно бы праздновать и этот день, и поохмелиться, но не можно отказать Брокеру, у которого вчера была именинница также, но он сюда ее привез, зато сегодня ее будем праздновать.

Александр. Семердино, 29 августа 1828 года

Князя твоего начинаю я очень любить, потому что вижу, что он тебя любит истинно, да и грешно бы ему не любить: служишь ему надежным помощником, а что имел он от фаворитов своих – Рунич, Магницкого, Попова, кроме досад и неприятностей? И заочные приятели одесские тебя не забывают. Князь Петр Михайлович, Воронцов, Нессельроде пишут тебе часто. Возвращение императрицы в Петербург доказывает, кажется, что война не будет продолжительна, или не будет кампании зимней. Вся развязка в Шумле. Я не знаю этого Ридигера, но, должно быть, молодец; впрочем, и Грейг, и Меншиков, Рудзевич – все отличаются.

Теперь опишу тебе праздник наш 26-го числа. С утра уже начали сходить к крестьяне со всех окрестностей. Время было летнее, и бездна нашла народу. Наташа поехала с Фавстом к обедне, чему очень были мы рады, ибо могли делать себе покойно репетиции. Там приехало 9 штук Брокеров, Демидов, священник фряновский, человек умный, весельчак, хотя и шестидесяти лет, Попандопуло с женой. Прочие московские приятели изменили. Сели мы обедать. Ванюшка бесподобно устроил стол наверху; в середине стояли деревья, на коих искусно приделаны были всякие фрукты; всякий во время десерта имел для себя, что хотел. Опростили три бутылки шампанского. Вниз сошли кофей пить и курить на балконе. Стали давать вино

мужикам, пиво бабам, и я начал свою обыкновенную забаву – кидать пряники и мячики разных разборов; кто поймает и принесет, – тому давались, ежели баба или девочка, сережки, запонка, ленточка и проч., а мужикам и мальчикам – пятаки, гроши и пряники. Там пили чай. Я усадил гостей в вист, и пошли мы делать генеральную репетицию, а в 8 часов было и представление, которое очень удалось. Все много смеялись. Наташа догадывалась, что есть что-нибудь, но не знала – что, и никак не воображала, что я играю также. Я являлся только в конце пьески, а потому и сел я возле нее также зрителем и ушел только в ту минуту, как мне появляться на сцену. Костюм же мой не требовал много времени. Куплеты ее очень тронули. Это первый мой опыт; сроду ни одного стиха я не написал, да и не люблю стихов вообще. После начался маскарад. Я навез разные костюмы и маски из Москвы, в кои наряжали мы всю дворню. Песни на дворе продолжались до полуночи.

Бабы качались и визжали до ужина нашего. После был бостон, а там ужин, да болтали так, что разъехались в три часа утра. Попандопуло, Фавст и Демидов ночевали у нас, а прочие поехали домой, но ночь была светлая. Славно день провели; да, забыл я сказать, что был фейерверк. Шумишками прожег я платок у бабы, на что подарил ей новый. Только вышло, что бабы начали нарочно опаливать свои платки, требуя новых. Меня эдак три поддели, и я притворился, будто верю.

Александр. Семердино, 2 сентября 1828 года

Наташу и без приказания твоего поцеловал я лишний раз за тебя 26-го числа, и это день памятный по Бородинскому и Батинскому сражениям. Ох уж эти сражения! Как больно, что ранили бедного Меншикова! Воронцов, я чаю, радехонек еще послушать свиста пуль и ядер. Хотя ноги не оторвало, но, видно, рана серьезная. Лишь бы скорее вылечился и мог бы ходить без костылей, а то не останется без работы и Меншиков. Жаль, жаль очень! Дай Бог Воронцову скорее, успешнее и без вреда кончить начатое Меншиковым. Варна и Силистрия – два важные пункта, а Шумла, ежели и эту возьмем, решит участь войны. То-то и я не имел от Щербинина писем: верно, Воронцов взял его с собою. Я мало знал младшего Бенкендорфа³⁶, но он, мне кажется, был всегда слабого здоровья. Бог все устраивает по-своему: иной среди мира умирает от пули (как молодой Новосильцев), а другой – в сражении от болезни.

Александр. Семердино, 21 сентября 1828 года

К нам приехали в гости фряновские наши соседи, братья Рогожины, коих мы удержали ужинать. Старший из них, Николай, был недавно в Петербурге и по данным тобою парижским образцам сделал здесь на фабрике прекрасные ленты, коими одарил детей. Катеньке, слава Богу, лучше, так что вчера целый день была на ногах и сегодня сходила вниз и играла в мушку с Рогожинными и фряновским священником, человеком очень веселым и обходительным. Поутру навестила ее Брокерова дочь с двумя тетками, дочерьми бывшего почт-директора тамбовского Треборга, предобрые немолодые девушки. Я просил у Фавста каких-нибудь комедий, чтобы Катеньку развешивать; он прислал нам «Бригадира», который показался нам очень глуп. В 40 лет многое изменяется.

Брокер рассказывал, что в Москве умер скоропостижно обер-прокурор Абаза, сев после обеда за бумаги; человек за чем-то вошел в кабинет и видит, что перед барином все бумаги в крови, а он, мертвый, усидел, однако же, на стуле. Надобно было переписывать множество бумаг, подписанных уже сенаторами, и кои залиты были кровью. Вот человек! Здрав и весел, да вдруг и отдаст Богу душу. Я его мало знал, видал в клубе и раза два играл в вист с ним.

³⁶ Константина Христофоровича, умершего от скоротечной болезни легких в августе 1828 года, во время войны с Турцией.

Говорят, что клуб отделали с ужасной роскошью. Вся мебель новая и щегольская, комнаты расписаны, и сделаны многие перемены. Старшины убухали, говорят, тысяч 30. Был обед, на коем пили за здоровье Шульгина, экс-оберполицмейстера, который всем этим заведовал.

Александр. Москва, 28 сентября 1828 года

Я приехал в Москву вчера вечером. В Тарасовке вижу две кареты, спрашиваю – чьи? Княгини Меншиковой, возвращающейся из Троицы с богомолья. Я к ней пошел, и очень кстати, ибо мог ее успокоить насчет мужа, о коем не знала она ничего с отъезда его из Варны. Дети ее слушали меня с большим вниманием и плакали. Она была в мучительном недоумении, и долго. Муж кое-как написал ей пять строк после раны своей, отправил письмо к Воронцову для доставления в Москву. Между тем Воронцов назначен в Варну, и письмо княгине из Одессы опять возвратилось в Варну и оттуда уже отправлено в Москву, путешествуя месяц. Княгиня, не видев ничего руки мужниной, полагала его или убитым, или очень опасно раненным. Она думает, что ему костылей не избежать; но я уверил ее, что он будет ходить, как князь Яшвиль, только без костылей. Она меня напоила чаем. Я очень ее знаю по дому покойного графа Ростопчина³⁷. Тут наехал я нечаянно на ехавшего ко мне с письмами Андрея и, прочтя армейские бюллетени, кои мне присылаешь, отдал их все княгине без возврата. Она сказывала мне, что не нахвалится Воронцовым и тобою. Почему тобою? Это ты должен знать.

Здесь все уверены, что императрица беременна. Дай Бог еще сынка, и чтобы все были в отца. Ты знаешь ли, что, когда пришло в Одессу известие о ране Меншикова, которую считали сначала неизлечимою, государь заплакал. Два дня после того был славный спектакль в Одессе. Государыня пришла к нему уговаривать его ехать туда, но император отвечал: «Могу ли я развлекаться, когда Меншиков так ранен и когда я вижу, как проливается кровь моих подданных за нас и за отечество!» Императрица была столь тронута сими божественными словами, что тотчас разделась и сама не поехала в театр. Жаль, что такие изречения не всем русским известны; но государь действует и говорит по побуждению души, а не напоказ. Продли Бог век его для блаженства нас всех!

Сомневаюсь, чтобы ты сладил с Безбородко, который большой скряга, говорят; а хорошо бы тебе [то есть Почтовому департаменту] владеть тремя углами улицы.

Александр. Москва, 29 сентября 1828 года

Здесь есть некоторые дураки, повторяющие, что некоторые злонамеренные разглашают, что Варну мы оставили, что от Шумлы отбиты, что султан идет сам с миллионом, войска, и тому подобные бредни. Рассудительные люди, судя по происшествиям, смеются этому, но не худо бы полиции более иметь бдительности и шалунов унимать.

Нессельроде будет великолепно жить; не так я сказал: он будет в великолепной казенной квартире, но великолепно жить не станет. Воля твоя, ни ухваток, ни фигуры, ни привычек нет у него вице-канцлерских, как говаривал Деболи, между нами будь сказано. Тут бы жить покойному князю Александру Борисовичу [Куракину]. Коллегию заставят франтить, а мы не можем добиться несколько Рублев на шкапы для бумаг екатерининских!

Александр. Москва, 1 октября 1828 года

Все здесь удивляются, что я могу так долго оставаться в деревне: «Да вы должны умирать от скуки». А я, право, там счастливее, нежели здесь. Но не всякий понимает семейственное счастье; да правду сказать, не у всех такие жена и дети, как у меня. Не увидишь, как день пройдет: гуляешь, читаешь, пишешь, а тут письма от тебя, славное угощение, газеты, вести

³⁷ Княгиня Анна Александровна Меншикова, урожд. Протасова – двоюродная сестра графини Е.П.Ростопчиной.

хорошие. Много я наблюдал детей своих, и трудно решить, которой дать предпочтение – Кате или Ольге; но старшая, мне кажется, еще добрее: отдает все, что имеет, и судит очень здраво.

Вот и князя Николая Васильевича правнучка замуж идет [то есть дочь князя Петра Михайловича Волконского]. Я желаю, чтобы княгиня Софья Григорьевна попала в бабушки скорее, и как вспомнишь Воронцово, то и ее вспомнишь – свежую, прекрасную, как розан, в 14 лет.

Точно, что нет счастья совершенного на земле. Кажется, чего не достает нашему милому Воронцову? Сколько у него есть завистников? Но ежели справедлива история, которую на ухо здесь рассказывают, – о поступке глупом молодого Раевского³⁸ с графиней, то не должно ли это отравить спокойствие этого бесценного человека? Даже по тому, как мне Волков рассказывал, я ему доказал, что графиня совершенно невинна. Вот так-то один бешеный негодяй может нарушить спокойствие такого примерного семейства. Меня очень это опечалило.

Александр. Москва, 3 октября 1828 года

Третьего дня какое было ужасное происшествие. Есть некто Сафонов Иван Сергеевич. Приходит к нему жена прощаться. «Что?» – «Еду с визитами». – «Погоди, матушка: вот пришел дантист; дай мне только при тебе зуб вырвать, первый раз от роду это делаю». Садится Сафонов. Дантист принимается за дело. Сафонов вдруг от боли закричал и встал со стула, а жена его хлоп в обморок. «Ничего, – говорит дантист, – это пройдет»; но, видя, что укус не действует, он тотчас в карман за ланцетом, одну руку отворяет, другую – кровь не идет. Бедная Сафонова уже умерла! Она называлась Марья Дмитриевна и была красавица в свое время. Это была молниеносная апоплексия, которую, по видимости, испуг поторопил, но которая приготавливалась уже накануне. Она жаловалась на головокружение; надобно было пустить ей кровь ранее. Экое создание человек! Она оделась ехать с визитами, а вместо того поехала на тот свет.

Александр. Москва, 6 октября 1828 года

Явился проезжий Николай Александрович Лунин, едущий в Петербург. Ему дается комиссия отправиться в Англию для покупки лошадей для государевых заводов; это продолжится, может быть, года два. Меншиков, с коим он очень дружен, вероятно устроил это, ибо Лунин большой охотник, знаток и заводчик лошадиный, знает по-английски. Его выписал Васильчиков Ларион Васильевич. Ежели этого увидишь, скажи ему, пожалуй, что Лунин здесь, что опоздал за скверною дорогой; прежде середины нет свободного дилижанса, потому прежде и выехать не может отсюда, несмотря на желание свое. Мне не нужно рекомендовать тебе Лунина, ты его знаешь. Он на все хорош: и в бильярд, и в вист, и покушать, и поболтать.

Александр. Москва, 9 октября 1828 года

Я ожидаю с большим нетерпением почту, мой милый и любезнейший друг. Весь город наполнен взятием Варны; прибавляют, что Семеновский полк, с командиром своим, почти весь лег, и что первый вошел в крепость, и что Воронцов ранен. Как же это знать? Сюда, верно, не послали же курьера прямо из Варны. Уверяют, что князю Дмитрию Владимировичу пишет это граф П.А.Толстой уже вчера. Зачем же он это не обнародует?

Александр. Москва, 15 октября 1828 года

Славное дело! Ай да Воронцов! Все восхищаются лестным рескриптом государя. Многие жалеют, что не дана ему Андреевская; я нахожу, что шпага лестнее. Голубая лента не уйдет, он может ее получить и за гражданскую службу, а взять крепость, как Варна, есть счастье особен-

³⁸ А.Н.Раевский, с хлыстом в руках, остановил на улице карету графини Е.К.Воронцовой, которая с приморской дачи ехала к императрице, и наговорил ей дерзостей. Его выслали в Полтаву.

ное, славный подвиг. Мало ли Андреевских лент? Но я представляю себе, что какой-нибудь сибиряк или иностранец видит генерала со шпагой, на коей: «За взятие Варны»; «Это Воронцов», – скажет он! А не всякая голубая лента – вывеска славного дела. Все те, кои спорили со мною, должны были согласиться, что я прав. Я полагаю, что и Воронцов одного со мною мнения.

Ты не можешь поверить, какое движение в городе, какая радость! Завтра (я пишу тебе с вечера) молебствие, все хотят иллюминировать дома, а Фавст заказал транспарант с словами: «Ура! Варна сдалась!» Я очень рад третьей звезде Алексея Самуиловича [Грейга] и пожалел, что она ускользнула у Меншикова. Все Бога молят, чтобы государь поехал через Москву. Ну, брат, ежели и возьмут зимние квартиры, то всё – кампания заключилась блистательным подвигом. Не поколотит ли Бистром разбойника Омера-Врионе? Я уверен, что Силистрия сдастся скоро. Письмо твое меня оживило, а то я очень был пасмурен. Завтра после присутствия поскачу в подмосковную. Дай Бог там все найти хорошо. Мы были с Фавстом на большом именинном обеде у Хругцовых. Тут были комендант и обер-полицмейстер, которые ничего не знали. За столом пили и за здоровье Лобанова, отец его обедал тут же. К вечеру бал у князя Дмитрия Владимировича, но я не поехал.

В Архиве собрал я всех в кружок и прочитал им донесение о взятии Варны и рескрипт к Воронцову. В городе ужасная радость и тревога. Меня очень насмешил один из наших инвалидов. «Поздравляю вас, ребята, со взятием славной крепости!» Один из них отвечал: «Благодарим, ваше превосходительство, граф Воронцов Петра Великого перещеголял!» – «Почему же?» – «Да как же, ваше превосходительство, ведь Петр Великий был под Нарвою разбит, а граф Воронцов Нарву взял». Товарищи его после осмеяли, а он сказал: «Ах я старый пёс, неправильно донес его превосходительству».

Александр. Москва, 23 октября 1828 года

Мамонова мне говорила, что дождется моего возвращения, имея нужду говорить со мною; только вышло, что она не дождалась меня и уехала к вам в субботу. Это на нее похоже. Фонвизин отказался, она просила князя Дмитрия Владимировича Голицына уговорить Кушникову, запете-манданта³⁹ Волкова, но они оба отказались от опекуинства, а склонили Цицианова, князя М.Д., который более года не хочет оставаться. Я ей не заикался о себе, ибо не намерен напрашиваться; а ежели захочет, чтобы я тебя заменил, когда выйдешь, то не иначе, чтобы заведовать несчастным братом ее, но ни в имение, ни в деньги никакие не вмешиваться. Пусть она и куролесит, и отвечает.

Александр. Москва, 25 октября 1828 года

Вчера вечером заехал за мной тесть, уговорил меня ехать на вечер к княгине Катерине Алексеевне Волконской. Видел я тут дурака этого Масальского. Со стула вспрыгнул, узнав, что Потоцкому пожалована Александровская, а он обер-шенк и в Аннинской. Вскрикнул: «Как, и Потоцкому тоже Св. Александра?» – да потом, одумавшись, прибавил: «Но у кого его нет? У кого его нет?» – «Да у вас, и у меня, князь». – «Да посмотрите на Ушакова; он и не родился еще, когда я имел уже ленту Св. Анны». – «Но, князь, эти господа теряют там руки и ноги, а вы тут спокойно играете в вист». – «Но ведь сражаться – это не дело обер-шенка». – «Отлично, князь, но его дело должно быть при дворе, а вы вечно в отлучке в Москве». Все стали смеяться, а Масальский потом сказал тестю: «Ваш зять прав. Надобно мне все же прогуляться в Петербург, отсутствующие всегда неправы, там же теперь князь Сергей Михайлович; он же мне поможет». Экий дурачина! Мудрено ли, что Ростопчина делает глупости, имея такого советника?

³⁹ Так звали Булгаковы бывшего московского коменданта, а в это время жандармского генерала, А.А. Волкова.

Тут был наш родня Лев Николаевич Энгельгардт. Он просил меня побывать у него, имея нужду со мной поговорить. Что же выходит? «Я хочу, – сказал он, – написать воспоминания о моей жизни; хочу показать вам мои материалы, кои богаты и любопытны, мне хочется сделать это вроде «Записок» Сегюра». Хорошо!

Поеду копаться в свой Архив, боюсь заразиться болезнью Каменского. Польские бумаги очень меня интересуют. Все тут почти батюшкина рука; видно, что он все делал при Репнине, Сальдерне, князе Волконском, а там и сам был тем же, что они.

Александр. Москва, 26 октября 1828 года

Вчера слышал я весьма печальную весть. Пишет Ренкевичу сын из Тифлиса, что Сипягин⁴⁰, у коего он адъютантом, умер после кратковременной болезни. Это потеря для службы и для края, где много успел он сделать добра. Вообрази, что жена его, приехавшая сюда к отцу родить, после весьма трудных родов оглохла совершенно. В ее жизни так отчаиваются, что и не скажут ей о кончине мужа, коего недолго она переживет. Какие удары для бедного С.С.Кушников! К счастью, приехал другой его зять – Бибииков. Все легче будет старику, коего здоровье тоже плохо.

Александр. Москва, 27 октября 1828 года

Вчера явилась к Волкову с Кавказа Марья Ивановна Корсакова и поселилась у него со всей своей свитою. Станет его, как саранча, объедать. Она мало переменялась, а дочь, нахожу, подурнела. Говорила она, что, истощив все свои каналы и писав бесполезно Реману, жене твоей и другим, решилась наконец к тебе прямо адресоваться и что ты, повсемирно восхваляемый твоей готовностью всем угождать, ей тотчас отвечал и прислал какие-то капли, от которых она сама воскресла и множество других больных поставлены были на ноги. Стало, тебя, мой милый друг, и на Кавказе прославляли! Спасибо хоть, что признательна. Волков, который, как ты знаешь, любит всех хвалить и все хвалит, рассказывал, как магометанский какой-то князек с Каспийского моря покупал Корсакову дочь, а потом хотел увезти, потом сватался, с тем что она может сохранить свою веру; но с турками негоциации редко удаются. Гриша Корсаков, также приехавший с матерью, представляет совершенного Fra Diavolo, коего голова была в мое время в Неаполе оценена в 800 червонных; усы отпущены на Божию волю, а эспаньолка такая, что бороды не видать. Я понимаю, что на Кавказе он слыл Адонисом и даже Бельведерским красавчиком, но здесь Москва, и Волков советует ему обрить все это.

О Сипягине тем более все жалеют, что он заразился, осматривая госпитали, в коих много было гнилых, прилипчивых горячек. Он было хорошо за дело свое принялся, и трудно будет его заменить.

Зайду к Брокеру – сказать ему, что дело с Ростопчиной кончено в его пользу в Сенате вчера. Тесть мне это сказал под секретом. Говорят, что губернатор подал в отставку; не будут плакать по нему. Вздорный, пьяный человек. Надобно Закревскому приискать сюда хорошего человека, чтобы Москва похвалила его выбор. Князь Дмитрий Владимирович сказал приятелю одному, что собирается в Петербург и что оттуда воротится партикулярной особою.

Александр. Москва, 29 октября 1828 года

Меня как будто громом ударило. Развернув письмо твое от 24-го числа, я прежде всего увидел записку руки князя Петра Михайловича, ее первую прочитал и сказал себе: ну слава Богу, вовремя пустили кровь императрице. Фавст вошел. – «На-ка прочти, посмотри, в какой была опасности императрица», – а между тем принялся я за письмо твое, да как ахну, так

⁴⁰ Николай Мартыянович, герой Отечественной войны, генерал-адъютант, военный губернатор Тифлиса, умер 10 октября 1828 года. От второго своего брака, с Елизаветой Сергеевной Кушниковой (умерла 1 ноября 1828 года), имел он сына.

что Фавст испугался. «Что такое?» – «Не стало императрицы!» Бедный Фавст так и залился слезами, хотя почти и не знал покойную государыню. Шли к столу, Настасья Ивановна [теща Ф.П.Макаровского] именинница, мы положили молчать и не портить праздника, потому что Настасья Ивановна пользовалась некогда особенными милостями покойной императрицы. Только, как мы ни притворялись, а старуха раза три все добивалась: «Что с вами с обоими? Вы опечалены». Мы отговаривались, что угорели в кабинете, куда и ушли после обеда разделить скорбь нашу.

Какая потеря! Я не говорю уже о благотельных заведениях, но какой удар для царской фамилии! Государыня, по летам своим, по добродетелям, по званию матери императора, была как бы главный судья, к коему все прибегали. Боже упаси царскую фамилию от всяких раздоров; но случись такое несчастье, кто будет это все примирять? Государь сам еще молод, младший брат на престоле. У меня мысли свои, может быть странные, слишком феодальные, но я оплакиваю даже и золотую карету, и 8 лошадей, и гусаров покойницы. Это нужно было для народа. Не люблю я и эту имперскую буржуазность, введенную Александром Павловичем: государь не такой имеет дом, как мы, так надобно, чтобы и все прочее соответствовало огромному дворцу, в котором он обитает. Теперь исчезнет последний этикет при дворе, а им держится почтение народное к престолу. Запанибратство, простота в жизни и обхождении погубили королеву Французскую, а с ней и Францию.

Философы говори себе что хотят, да и я согласен, что мы все черви, все равны перед Богом; но народ не должен в государе видеть ничего общего со всеми.

Ох, жаль, брат, Марию Федоровну! Только, воля твоя, ее, как и покойного государя, ухили палачи – невежды-доктора. Срам, что не пожертвуют 200 тысяч жалованья в год, чтобы иметь Гуфланда, Франка, знаменитых таких врачей. Разве здоровье царей наших не стоит того? Как после такого *лучше* дать опять болезни усилиться? Скоты не умели предупредить удара; он неделю готовился, они не умели попасть на болезнь. Вся наша царская фамилия полнокровна.

Как бы ни было, общей матери не стало, а какая была здоровая, и при трезвой, деятельной ее жизни надобно было надеяться на весьма глубокую старость. Сердце государево как будто предчувствовало: недаром так спешил в Петербург. При горести его все ж отрада, что принял благословение столь нежной матери. Этого счастья братья его не имели. Манифест очень нас тронул. Я поехал к Черткову; он, стоя перед портретом Павла I, что у него в гостиной, плакал, говоря: «И он, и она были мои благодетели». Я ожидаю с нетерпением подробностей от тебя и известия о состоянии нашего ангела Николая. Был я после у Волкова, и тот ничего не знал; был тоже как громом поражен. Государыня по Плещеевым его любила всегда. У Волкова случились две монастырки, им сделался обморок и припадки нервные от горестного сего известия. Все в унынии; я представляю себе, что должно быть в Воспитательном доме.

Но представь себе глупость или ветреность нашей полиции. Известие пришло поутру, по почте, все имели письма от своих, многие и манифест печатный получили, а между тем и Киарини [акробатическое общество], и все театры были открыты. Это непристойно. Ежели князь Дмитрий Владимирович отказал свои воскресные вечеринки, так, стало же, знал о несчастий; как же не закрыть театры? Да ежели бы известие пришло и не поутру, а в самое представление, то следовало оное прервать. Говорят, что Закревский не сообщил официально. Да разве для таких случаев надобно ожидать приказаний? Хорош и Шульгин наш новый: старый был мужик, но не сделал бы такой глупости. Покуда я был у Волкова, отовсюду присылались к нему записки с горестной вестью, но манифеста никто еще не имел. Еду в Архив, заеду к Рушковскому; он, верно, горюет, как мы. Мне кажется, я вижу перед собой покойницу, слышу ее милостивые слова: «Премного благодарю вас за все ваши труды для меня». Кто это говорит? Императрица своему подданному, дежурному камергеришке.

Александр. Москва, 30 октября 1828 года

Сегодня панихида в соборе по покойной императрице; надобно ехать в собор, но прежде отправлю письмо мое к тебе, любезнейший, ибо из Кремля проеду в Архив. Вчера получил я твой № 193. И у вас, и у нас только одна речь, одно всеобщее горе. Вчера я был у Волкова. Он был так же ошеломлен, как и я и как все, тем, что в день, когда явилась несчастная новость, был театр, да и вчера разносили афишки: назначена была Капнистова пьеса «Ябеда», но догадались, видно, и не было представления.

У Волкова видел я доктора Гааза, он рассказывал очень удивительное дело. Бедная Сипягина, лежащая в забытии третий день и никого не узнающая, вчера вдруг сказала своей девушке: «Ты знаешь, что муж мой умер?» – «Откуда вы взяли это, сударыня? Как бы нам не знать об этом». Больная опять впала в бесчувствие. Только вчера вечером, придя в себя, она очень внятно повторила: «Боже мой, как жаль бедную императрицу!» Батюшка будет в сокрушении от ее кончины. Товарищи Гааза приписывают это сомнамбулизму, он сам не знает, как растолковать; но мне кажется, просто, что девушки и все, больную окружающие, видя ее в забытии и бреде, говорили, не стесняясь, о том и другом, и больная, имея на эту минуту память, вслушалась, верно, в разговор. «Я бы тоже так объяснил, как вы только что, – заметил Гааз, – но подумайте о том, что больная так глуха после родов своих, что не услышала бы и пушечного выстрела». Это подлинно очень странно и истолковано быть не может.

Забыл я тебе сказать вчера, что приходил к нам в Архив один армянин, просивший перевести ему какой-то армянский документ. Разговаривая с ним, слышал я от него, что он и многие его товарищи получили известие о последовавшем в Арзруме бунте, что янычары послали в Топхан-Кале к нашим сказать, чтобы они шли занять Арзрум, что все готово для принятия их, что генерал наш, подозревая измену, не уважил этого, но что тогда янычары прислали аманатов, объявив, что преданные султану войска все вышли, что остальные не хотят принадлежать Порте, а русским, и что ежели сии не придут, то янычары сожгут весь город; что после сего 1200 нашего войска вошли в Арзрум. Кажется, это невероятно; увидим, что скажет тифлисская почта.

Александр. Москва, 30 октября 1828 года

Мое письмо к тебе было уже отправлено, мой милый друг, как я получил почту в Архиве и был поражен роковым известием о бедном Урусове⁴¹. Моим первым движением было пойти к князю, он был в Сенате, я нашел только княгиню. Не хватило у меня духу объявить ей новость, коей она еще не знала. Ее сын Павел счел нужным подождать несколько дней, но затем, когда княгиня мне сказала: «Вы что-то не в своей тарелке, скажите-ка мне правду, не случилось ли какого несчастья?» – я взял на себя объявить ей сию печальную весть. Она сильно плакала и имела нервные припадки. Вскоре после приехал князь; сей добрейший отец также плакал горько, затем обнял меня со словами: «Ты меня избавил от несчастья объявить горе это жене моей; буди воля Божия, государь и не это потерял!» Княгиня, несколько поуспокоившись, спросила, знает ли о несчастий ее дочь Софья. Я сказал, что да, и тогда стал заклинять ее взять себя в руки и написать несколько слов по крайней мере ее дочери, чтобы ее успокоить, что она и сделала, а отец надписал адрес. Вот письмо, доставь его поскорее княжне Софье, это будет бальзам на ее сердце. Пусть она бережет себя, родители ее смирились. Граф Иван⁴² совершил большую неосторожность – он написал своей матери, что Александр безнадежен, а знает, однако же, что жена его читает все письма старой графине; графиня Марья лишилась чувств, читая эту столь неожиданную новость. Князь Ал. Михайлович поехал к дочери теперь, ей объявлять несчастье. Я нехотя все это исполнил.

⁴¹ Речь идет о кончине князя Александра Александровича Урусова.

⁴² Граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, муж графини М.А.Урусовой. Сестра ее графиня Софья была тогда фрейлиной Александры Федоровны.

Александр. Москва, 31 октября 1828 года

Какая, говорят, картина в Воспитательном доме, так это ужас. Вой повсеместный! Шульгин, видно, думал поправить свою глупость в рассуждении театров: приехал в понедельник в Английский клуб и просил старшин на два дня закрыть его. Натурально, согласились; но почему же на два дня, а не на 7 или 15, и ежели все трактиры открыты, то почему закрыться Английскому клубу, который не что иное, как благородный, собственный для 600 членов трактир? О Шульгиных хорошо сказал кто-то: Алекс. Сергеевич Шульгин был *дурак*, а Дмитрий Иванович – *дура*. Первый все-таки был лучше. Многие его любили, особенно дворянство, а этого никто.

Александр. Москва, 2 ноября 1828 года

Бедная Сипягина умерла наконец, промучась довольно долго. Бюллетень о покойной государыне утверждает меня во мнении, что Рюль [Иван Федорович, лейб-медик, доктор медицины и хирургии] с другими скотами не знали своего дела. Как не предупредить удар, который готовился более 10 дней? Я все-таки одно твержу: старый, расслабленный австрийский император, истощенный подагрой и развратной жизнью Георг Английский живут, покойник Людовик XVIII последние 7 лет жил одним искусством и усердием докторов, а наши морят наших царей, как мух, и покойный государь и матушка его – жертвы их незнания. Говорят, старая была, да иной в 70 лет здоровее и лучше сбережен, нежели другой в 25! Жаль очень добрую императрицу.

Волков получил известие из Тулы, что тамошний оружейный завод сторел; это большое несчастье, особенно в теперешнее военное время. Прошлого году там прорвало плотину, остановка была временная, и то очень чувствительна, а эта очень будет ощутительна. Подробностей еще нет, но никто из людей не погиб.

Александр. Москва, 3 ноября 1828 года

Итак, управление покойной государыни переходит к самому государю; да и точно, неловко было подчинить князя С.М.Голицына, Кушникову, Вилламову и проч. частному лицу, тогда как имели они начальницей императрицу. Институты, вероятно и Смольный монастырь, поступят к царствующей императрице. Лобанова комиссия очень приятная. Яко самовидцу, будет ему что рассказывать в Берлине. Старик, кажется, доволен, что сын его избран был для Берлина. В разговоре о намерении князя Дмитрия Владимировича оставить Москву⁴³ он мне намекал, что князь Дмитрий Иванович, брат его, сюда будет назначен. И мы здесь очень жалели о Сипягине. Хорошему всякий отдаст справедливость; жену его вчера хоронили. Бедному Кушникову удар за ударом, в государыне он также лишился милостивой и сильной покровительницы.

Хрущовы прислали звать ехать с собою смотреть вход персидских пушек, сводного отряда. Не стоило же труда ездить, и смотреть нечего было. Солдаты как солдаты, а пушки как пушки. Народу была бездна, вся Москва, так что не одни мы были мистифицированы. Завтра будет в экзерциргаузе обед и угощение для войск. Хрущовы дают всякому солдату по две чарки вина. Не грешно откупщикам сделать это пожертвование. Волков тут парадировал верхом.

Александр. Москва, 5 ноября 1828 года

Вчера было трактирование, сделанное городом сводному полку. В экзерциргаузе накрыты были столы, солдатухи явились, сели, пили и ели. Перед всяким было вино простое, белое, красное; сии два мало обращали внимание их, а занимались они ерофеичем, русским вином

⁴³ Князь Д.В.Голицын многократно намеревался покинуть московское генерал-губернаторство.

и пивом. Когда предложено было князем Дмитрием Владимировичем здоровье императора, то солдаты закричали так громко «ура»! что казалось, будто здание это обширное обрушится. В тот же день все офицеры полка и все генералы, в Москве пребывающие, были угощены обедом в зале Благородного собрания. Поутру возили персидские трофеи по городу. Волков (между нами) получил предписание разведать подробно о состоянии Воспитательного дома и, собрав все сведения, касающиеся до управлений, вверенных покойной императрице, приехать в Петербург. Он сказал мне, что отрадно было бы для него остановиться у тебя. Я ручался, что ты будешь рад, но он все-таки хочет твое согласие на это и просит тебя, нимало не церемонясь, сказать «да» или «нет». Он будет у вас недолго; сестрины комнаты пусты, к ним особенная лестница, экипаж и все прочее будет у Волкова свое, а за обедом эдакий гость всегда кстати; к Бенкендорфу ездить ему близко.

Александр. Москва, 8 ноября 1828 года

Графа поздравляю с приездом, а между тем и прошу его, чтобы велел Коллегии выдать 1500 рублей, кои просим мы на шкафы для помещения бумаг екатерининских: они лежат покуда в сыром подвале, ежели не разместить их в шкафы, то пропадут; отвечая за целость их, надобно дать нам и средства уберечь их. Мы назначили одну из трактатных комнат, там можем мы поставить 23 больших шкафа, и все будет ладно. Многим не нравится повестка – бывать всякий день в Архиве, и идут в отставку; но как это не мучение, то и желаем им счастливый путь. Когда увидишь графа, попроси его скорее разрешить нам и велеть выдать нам 1500 рублей. Может быть, и менее будет стоить.

Александр. Москва, 9 ноября 1828 года

Сию минуту выходит от меня знакомый твой, останкинский учитель Иванов, который продержал меня часа полтора, рассказывая свою беду, только что не плачет. Бедный человек, а должен нести убытку тысяч на восемь. Постараюсь сократить историю, елико возможно. Ты помнишь, что он должен был издавать здесь ежедневный журнал или газету. Князь Дмитрий Владимирович это одобрил, пошла большая переписка с Университетом и Министерством просвещения, все было слажено, подписки набраны, накоплены материалы на целый год; думал делать объявление, как вдруг получает князь письмо от графа П.А.Толстого, который ему внушает остановить издание, потому что Иванов токмо подставное лицо, а истинный издатель – князь Вяземский, – присовокупляя разные оскорбительные для него качества. Князь Дмитрий Владимирович взялся за это горячо и адресовался к Бенкендорфу, говоря, что Иванов даже незнаком с Вяземским, что все обряды, коим законы подвергают журналистов, были соблюдены, что по неосновательному подозрению нельзя разорять человека. Защищая Вяземского, в коего поведении, в девятилетнее управление свое Москвою, князь ничего не заметил дурного, он прибавляет, что ежели бы Вяземский и был таким, каким его подозревают, то перо его не может подавать никакого опасения, ибо оно подвержено пересмотру цензуры; что никто не может ему помешать давать свои статьи печатать в других журналах, ежели Иванова и не состоится, и проч. На это письмо получил князь ответ от Бенкендорфа, который я читал. Тут ни слова о Вяземском, а сказано, что лицо Иванова не довольно известно, чтобы служить ручательством, что число издаваемых в России политических газет (а эта не политическая) весьма уже велико (а в Москве и есть только одни «Московские ведомости»), а потому государь не соизволяет на издание «Ежедневного вестника», прежде названного было «Утренней газетою».

Вяземский написал преславное письмо, оправдывая честь свою; князь Дмитрий Владимирович послал оное в оригинале к государю. Хотел писать опять Бенкендорфу, но мой совет Иванову был не настаивать в этом: переписка ничего не произведет, Бенкендорф захочет, конечно, поставить на своем, а так как князь Дмитрий Владимирович едет в Петербург, то лучше объясниться словесно о деле сем, а между тем советовал я Иванову адресоваться к

Волкову, который его знает сам за хорошего человека. Какая нужда журналисту быть известным? Иванов член шести обществ ученых, этого довольно; а ежели журнал будет дурен, тем хуже издателю: не будет иметь подписчиков и лопнет. Мне кажется, что тут есть какая-нибудь изнанка. Не интрига ли Булгарина, неприятеля Вяземского и всех журналистов? Время все это покажет, но Иванов очень меня просил все это тебе сообщить, чтобы при случае ты знал ход всего дела и мог его защитить. Он, бедный, точно невиноват и лишается несправедливо последнего хлеба. И для князя Дмитрия Владимировича все это неприятно, ибо журнал составлялся под его руководством. Нет сомнения, что при благонамеренном редакторе и хорошем надзоре журнал этот был бы полезен правительству самому, давая хорошее направление мнению всеобщему.

Александр. Москва, 10 ноября 1828 года

Ай да Гейсмар, достоин золотых аксельбантов! Тесть его опять порадует, прочтя это в газетах немецких. Все журналы наполнены Варною, но видна зависть всех; да и подлинно: дерутся и другие хорошо, но кто противу русских берет крепости? Сам Наполеон, славно воевавший, ничего не штурмовал, а брал стратегией, этот же Наполеон должен был с носом отойти от Сен-Жан д' Акры. Турки в укреплениях ужасны! А мы сколько можем насчитать славных штурмов: Измаил, Очаков, Браилов, две Анапы, Варна, Прага, Ахалцых и проч. и проч. Чубук Юсуф-паши подлинно историческая деталь. Я все жалею, что не удержали капитана-пашу военнопленным. Это великодушие государя не так-то будет растолковано завистниками нашими, а между сими и французы сами, хотя нас и любят, и заодно с нами. Мне так смешно читать их рассказы надутые о действиях своих в Морее, которые почти игрушки детские в сравнении наших исполинских успехов за Дунаем.

Вчера зашел я до обеда к князю Якову Ивановичу. Князь Алексей его здоров, он сам получил от него письмо. Стало, Мамонова в девах и в графинях, а не в княгинях.

Александр. Москва, 12 ноября 1828 года

Вчера был у меня очень долго Фонвизин, толковал о графе Мамонове. Оставляя эту опеку, он был у Цицианова, описал ему все как есть, про графиню, брата ее и Захара, полагая долгом честного человека его предостеречь; потом говорил он с князем Дмитрием Владимировичем, коего просил из сострадания к несчастному вступить за него. Цицианов не знает по-французски, а тот не знает по-русски, он не может даже говорить с Зандрартом, коему вверен надзор над графом. Этот Зандрарт человек золотой, честный, умеющий обходиться с больными, именно как должно. Графиня будет стараться его удалить; она хочет прислать какого-то доктора из Петербурга, а Маркуса также трудно заменить: мы видим успехи его в лечении графа. Одним словом, план Захара разорит имение, а графа оставит вечно в этом положении. Он сказал князю, что единственный человек, способный хорошо повести дело, – это я, что я сумел добиться расположения графа, который спрашивает обо мне и свылся со мною, что я обходился с ним с твердостью и в то же время с деликатностью. Князь отвечал Фонвизину, что не сомневается в этом, но не знает, как дело устроить. Другой ему заметил, что это очень легко, поскольку граф находится в городе, вверенном его попечению; человечность требовала, чтобы он взял его под свое покровительство, ибо идти к такой безумице, какова его сестра, было бы гораздо более подозрительно, что она до сих пор ничего не сделала для его пользы, что известно, что она даже была в тяжбе с ним до того, как он лишился рассудка, что, поговорив обо всем этом с императором, он совершит христианский поступок милосердия, и проч. И князь ему сказал: «Надобно сперва мне переговорить с Булгаковым, захочет ли он взвалить на себя эту каторгу; если он здесь, пришлите его, прошу вас, чтобы поговорить обо всем этом».

Князь едет в Петербург послезавтра. Я к нему завтра заеду и увижу, что он мне скажет; а между тем все это тебе пишу, чтобы ты знал в случае, если зайдет речь. Я все-таки одно

твержу: делай она с именьями что хочет, в это никогда не соглашусь мешаться, а иметь наблюдение за бедным графом, смотреть, чтобы не было ничего упущено к его успокоению и выздоровлению, я готов охотно. Знаю я, что все это будет также объявлено Бенкендорфу и доведено до сведения его. Государь требовал уже один раз сведения о Мамонове, и я, по просьбе Волкова, сделал записку, которую Бенкендорф отдал государю, но в записке этой я не касался Мамоновой. Не мое дело ее ревизовать.

Александр. Семердино, 14 ноября 1828 года

Славно мы ехали до Тарасовки, то есть менее двух часов, но на подъезде к нам от бывших ужасных выюг так занесло дороги снегом, что способу не было ехать, лошади пристали. Нечего делать, не ночевать же на дороге! Вышли мы из возка; я, как учтивый кавалер, дал руку Наташе, и мы протанцевали польский от села Иевлева до Семердина. Очень устали; пили чай, и я не хочу лечь, не написав тебе и Катеньке хоть несколько строк с ямщиком, отправляющимся обратно. Всех мы нашли здесь здоровых. Пашка в таком восхищении, что глаз с меня не спускает; долго не говорил, но зато теперь не умолкает. Возок явился только час после, ибо надобно было посылать за ним лошадей отсюда. Тарасовку нашли мы сгоревшею. Бедный смотритель, старый, раненный в ногу офицер, спас все казенное: повозки, лошадей, книги, но зато своего всего лишился, а у бедного четверо детей. Больно мне было, что не мог ему дать более 10 рублей, но он и эти принял с благодарностью; напишу Рушковскому, не найдет ли он средства ему помочь. Бедный ямщик, нас привезший сюда, также всего имущества лишился; он ожидал побоев от меня, вместо того дал я ему прогоны двойные, лошадям сена и овса, а его накормили, напоили и спать положить. Везде-то несчастные!

Кстати сказать, о несчастных. Тесть сказывал, что Кушников получил премилостивый, утешительный рескрипт и что плачет как ребенок, повторяя: «Государь лишился матери, сам в горе и в такую минуту вспомнил меня и хотел меня утешить бесценными строками своими». И подлинно, надобно иметь сердце, каковым Бог государя наградил, чтобы так поступать. Кушников подтвердил тестю о точности показаний дочери его Сипягиной, и его так они поразили, что он требовал истолкования у Филарета. Этот ему сказал: «Нет сомнения, что в ту минуту, когда душа разлучается с телом, человек одарен способностями необыкновенными, и много есть примеров, что умирающие предсказывали будущее или говорили о происшествиях, в ту минуту случавшихся, и кои никому не могут быть известны».

Александр. Москва, 19 ноября 1828 года

Намедни был трагический случай. Умерла старуха Фаминцына. Священник Николы на Грязи, который должен был ее отпевать, был ею облагодетельствован. Он так был поражен горестью видеть ее в гробу, что в церкви тут же пал и умер. Говорила Обрескова, что ужасно было видеть жену его и девять человек детей, кои рыдали и кричали от горести, да и все были поражены вместо одного покойника видеть двух.

Александр. Москва, 20 ноября 1828 года

Я с большим удовольствием читал Жуковского стихи в «Пчеле». Он ленив и редко пишет, потому что не может писать без вдохновения, а это бывает, когда душа его сильно поражена и тронута чем-нибудь. «С тобой часть жизни погребаем», – прекрасное выражение! Жаль мне, что и этой императрице не мог я воздать, как покойной Елизавете Алексеевне, последний долг. Ежели для одной съездил в Белев, то, верно, поехал бы для другой в Петербург. Но мало ли, что хочешь, что должно, – да нельзя!

Александр. Москва, 22 ноября 1828 года

Итак, Мамонова, все еще Мамонова и именем, и проказами. Князь Дмитрий Владимирович рассказывал мне всю процедуру с нею. «Я не могу простить себе, – сказал он, – что не подумал о вас в то время; впрочем, это ей надлежало о вас спрашивать, тем более, что она вас уже выбирала один раз, чтобы ее заместить, и вы очень хорошо поладили с ее братом. Опекунство была переведена, не вполне понимаю почему, в Петербург; я не могу всем этим очень похвалиться, если только не увижу какое-нибудь злоупотребление, кое не потерплю как начальник города, где находится несчастный», – и проч. Много меня расспрашивал о графе, о коем очень жалеет по-человечеству. Я все одно твержу, что Маркус уже много сделал тем, что лютого, оборванного человека преобразил и сделал из него тихого, послушного, который моется, одевается чисто, бреется всякий день сам; а пруссак этот Зандрарт, который надзирателем над графом, таков, что надобно радоваться, что он не просит 20 тысяч в год: их нельзя бы отказать, ибо такого не найдешь другого в целой Европе. Он добр, человеколюбив, старателен, не отходит из дому ни на шаг и вместе с тем очень тверд, неустрашим с больным. По должности своей перечисляя часто графу, не может он быть ему приятен, но, конечно, делает все на свете, что только можно, к удовольствию и успокоению его. Цицианов добрый человек, но я не знаю, решится ли он бывать у графа и иметь с ним частые сношения, как я и Фонвизин.

Я имею множество записок графа, кои доказывают некоторую доверенность ко мне. Он часто писал мне: «любезный друг Александр Яковлевич». Все это делалось не вдруг, и много пройдет времени, прежде нежели Цицианов поставит себя на эту ногу; а главная беда, что Цицианов не может сообщаться с Зандрартом: тот не знает французского, а этот русского языка. Зандрарт, с первого дня вступления своего, завел журнал подробнейший, по коему можно видеть все, что граф делал и говорил или писал (ибо он беспрестанно пишет) всякий день. Одним словом, надобны ум, терпение, твердость, сноровка Зандрарта (которые он приобрел, смотрев три года за другим сумасшедшим, графом Разумовским) [Кириллом Алексеевичем], чтобы взять на себя эту обузу. Не раз он мне говорил со слезами: «Клянусь вашему превосходительству, что без необходимости собрать что-нибудь для моей бедной жены и моих детей я не взялся бы за этакий труд и за 50 тысяч в год; ответственность моя огромна; те два или три раза в год, что я в церковь хожу, я себя чувствую как на иголках: мне все кажется, что случается что-то в доме». А это каково, что он рискует быть убитым, ибо как ручаться за сумасшедшего? Вдруг может взбеситься, а Мамонова во время оно насилу пять человек могли связать.

Я тебе на досуге все это рассказал, чтобы ты при случае знал истинное положение вещей. Боже меня сохрани подозревать графиню; но всем известно, что она видит, слышит и действует по воле Захара, который и пьяница, и бездельник. Когда я и был опекуном, я не мешался до именина, но особа Мамонова меня интересовала, и он верно ни в чем не терпел нужды. Впрочем, я готов биться об заклад, что брат переживет и сестру, и, может быть, других, моложе ее; у него сложение крепкое, и с хорошим присмотром он должен дожить до старости глубокой.

Александр. Москва, 23 ноября 1828 года

Так и валят гости с поздравлениями. Весь Архив перебивал, много твоих бывших почтовых, и бездна знакомых. Задарили меня всякой всячиной; но ничто не тронуло меня столь, как учтивость архивных солдат. Заказали кулич, имеющий вид орла Иностранной коллегии с гербом моим. Я всех солдат перецеловал.

Сию минуту выходит Сашка Волков. Вечером будем у него, а обед дает Фавст, мы все к нему едем, он назвал человек с 40, что мне неприятно; но он так радуется сам, что и я должен скрыть свое неудовольствие. Это станет ему рублей в двести, а лишних и у него нет. Все мои, даже и родные: сестра Любинька, тесть и пр., все там обедают. То-то был бы праздник, ежели бы ты находился с нами!

Александр. Москва, 26 ноября 1828 года

Вчера были у меня сперва Зандрарт, а потом доктор Маркус. Оба о том же просят, о чем просил Фонвизин, – чтобы я вступил в опеку Мамонову. Их резоны очень хороши, и я уверен, что никто лучше не повел бы все это в пользу несчастного, но не могу же я сам на это напрашиваться: это было бы смешно. Они толкуют равнодушие графини в этом случае как доказательство, что она брата нимало не любит. Все так, но и мне делать нечего. Я тебе писал очень подробно насчет всего этого и переговорю еще с Волковым, до отъезда его в Петербург, а там можете вы сделать совещание.

Как я сказал вчера князю Я.И.Лобанову, что П.А.Шепелев умер, то он отвечал: «Что это мы, старики, живем, да еще и в бильярд всех обыгрываем, а молодежь умирает?» По словам князя, Шепелев 59 лет, как в генеральском чине.

Ты спрашиваешь, где Вяземский? Все еще здесь. Он было поехал, да со второй станции воротился за дурной дорогою и погодою, а теперь, я чаю, уже дождется здесь развязки дела, о коем я тебе писал. Я его вижу очень редко, не езжу никуда, даже в клуб, где мы, бывало, встречались, а у нас он не бывает. Жена его не очень любит, а он ее называет Мадам Ультра. Он добрый и честный малый и благонамеренный, а то не миновал бы быть замешанным в истории ссылочных; я даже удивляюсь, что не попал (не по делам своим, а по вранью). Люблю его, но между тем я очень осторожен и переписку с ним давно прекратил, теперь еще более, видя, что ты одного со мною мнения на этот счет. Слышал я, что в «Московском вестнике» отбоярили Муравьева, но не читал я еще, ибо этого журнала не получаю, а читаю только в клубе, где не был с полгода.

Фавст задал славную пирушку мне. Я поехал от него в 11 часов, он принимался за банк, сделал Посникову и Лобанову, князю Ивану Алексеевичу, банк в 200 рублей, но, как всегда бывает, пошла потеха до рассвета. На другой день он мне рассказывал, что написал на них тысячи три; но ты знаешь его нрав: стала его мучить мысль, как в именины друга своего зазвал гостей веселиться, а вместо того их обыграл! До тех пор дометал, что дал им отыгаться, удовольствуясь 180 рублями чистогану, выигранного у них. «Не поверишь, – говорил он мне, – как я сладко заснул, вспомнив, что гости мои уехали без проигрыша и нареkania на меня». Какой добрый малый! Ну такой ли душе играть в банк? Всегда будет в дураках.

Александр. Москва, 27 ноября 1828 года

Я вчера перед Архивом заезжал к Вяземскому, отдал ему письмо, он обещался прислать ответ; когда прийдет, доставлю его к тебе. Скажи все это Жуковскому, мой милый и любезный друг. Вяземский очень долго со мной разговаривал о положении своем. Он чрезвычайно тронут и огорчен тем, что с ним происходит. Говорит, что он давно очень осторожен в своих разговорах, избегая всяких политических суждений; что прежде, может быть, предавался пылкому своему воображению, но то, что могло быть извинительно в молодости, теперь было бы преступление, ибо имеет детей, коих ни любовь, ни уважение терять не хочет, а еще более – вовлечь их в несчастье с собою. Он откровенно говорит, что, ежели бы ему именно без обиняков объявили, какая его вина, он бы в ней раскаялся, сознался бы или оправдался, что он довольно пожил, и это бы его поправило совершенно навсегда; но действуют все глухо. Он был последний раз в Петербурге, кажется, пять месяцев; перед отъездом оттуда (ибо работали, чтоб дать ему место при Киселеве) получил он письмо от Бенкендорфа очень лестное, в коем именно сказано, что определить его нельзя теперь, потому что многим отказано, но что государь, ценя его дарования и способности, употребит его при первом случае.

Вяземский уехал очень доволен сюда. Вышла история этого журнала, о коей писал я тебе подробно и в коей, чтобы наказать Вяземского, разоряют бедного Иванова. По долгой переписке, наконец, пишет граф Толстой к князю Голицыну и упрекает Вяземского в безнравственном его житъе в Петербурге. Зачем же не написать ему это? А Бенкендорфу, которому

более других должны были быть известны поступки Вяземского, зачем же было церемониться и писать ему похвалы именем государя? Вяземский писал к князю Дмитрию Владимировичу и просил суда, наказания в случае вины, но и торжественного оправдания, ежели невиноват. Голицын сказал: «Это втянет меня в полемику, у коей не будет ни конца, ни счастливого для вас результата; но я обещаю вам, что, приехав в Петербург, поговорю о сем с самим императором и все это выясню, ибо должна здесь быть какая-то изнанка». Но вместо того князь Голицын занемог и не поехал в Петербург. Вяземский объяснил все Волкову. Жуковский советует ему писать прямо к государю, и Вяземский готов бы, но коротко нельзя объяснить всего, а может ли он льститься, чтобы длинное письмо обратило на себя внимание государя, столь занятого другими важнейшими делами? Всего бы лучше, я думаю, ехать ему в Петербург и исповедь свою сделать Бенкендорфу, и все подробно объяснить. Бенкендорф сам отец, да и добрый, справедливый человек. Вяземский, впрочем, не требует ни малейшего снисхождения, но просто объяснения откровенного. Я думаю, нет ли тут авторской зависти, и не интриги ли это Булгарина, коего перо хорошо, но душа, говорят, скверная. Мне больно было смотреть на Вяземского, он убит, да и тяжело безвинно нести пятно.

Александр. Москва, 28 ноября 1828 года

Я не знаю, слышал ли ты, что Лукьян Яковлевич Яковлев оставляет свет. Разрешение из Синода уже получено, и он постригается в Симонов монастырь. Уверяют, что тому надобно множество грехов искупить, но все-таки похвально хоть кончить жизнь хорошо, ежели нельзя было сделать лучше. Всю семью пристроил, стар, слеп. Самый лучший избрал конец.

Александр. Москва, 7 декабря 1828 года

Жена была вчера у Щербиной [Настасьи Михайловны], которая сказывала Наташе, что Воронцов убит известной тебе историей графини, что он все хранит в себе ради отца и старухи Браницкой, но что счастье его семейственное потеряно. Меня это чрезмерно огорчает. Кто более Воронцова достоин быть счастливым? Я не хочу еще верить этому; мало ли что врут бабы? Щербина говорит, что это пишет Нарышкина жена [Наталья Федоровна] сюда. Полагаю, что и так-то не похвально Н. писать такие вещи. Кто на сем мире как-нибудь да не терпит? Но эта заноза для души чувствительной, какова Воронцова, ужасна!

Александр. Москва, 14 декабря 1828 года

Я тебе, кажется, писал, что бедного Кушникова, во время его несчастья, обокрали; тяпнули серебра тысяч на тридцать. На сих днях все отыскалось, – где же? В селе Черкизове, пять верст от Москвы, по Стромынке: свой домашний портной указал, а воры вытаскали сундуки, да и спровадили в Черкизово. 22 человека, участвовавшие в этой краже, схвачены. Это, вероятно, много откроет. Кушникову доставили много серебра, ему даже не принадлежащего, а украденного, видно, в другом месте.

1829 год

Александр. Москва, 4 января 1829 года

Вечером сидели мы покойно дома, вдруг две кареты на двор, – с кем? С шестью маскированными персонами, которые болтали, танцевали, пели; с тем и уехали, что мы никак их не узнали. Были разные догадки, но я все думаю, что они нам вовсе не знакомы, а потому и ловко им было проказничать. Ольга утверждала, что Окуловы, Катя – что Щербинины, а Наташа думает, что Сашки Волкова семья, куда все мои собираются на днях в маскарах. Это ужасно детей веселит, а они не очень часто веселятся, признаться. Гагарина день вчера, а я после к нему поехал. Немного было, вдруг поднялась маленькая тревога: «Что такое? Пожар, что ли?» – «Нет!» Бартенева [Феодосия Ивановна] собирается в другой комнате родить – вот тебе на! Минуту прежде с нами сидела как ни в чем не бывало. Однако же вышла одна пустая тревога: боли унялись. Я всегда удивлялся, как Бартенева или, вернее говоря, Фишетка, ни одного ребенка не родила в театре, в церкви, в гостях, на улице. Она вечно брюхата и вечно рыскает. Князь Николай [Гагарин] вовсе не казался восхищенным этой проделкою.

Александр. Москва, 5 января 1829 года

Удивительный человек этот Александр Михайлович Тургенев. Где он только не служил, и нигде не держался. Этот так часто менял службу, что вряд ли получит и пряжку. Многие его хвалят; но все говорят, что он сам не знает, чего хочет. Кстати, об этом. Скажи Закревскому (писать ему не хочу для этого одного), что очень всех занимает выбор будущего губернатора сюда, в Москву. Пора дать хорошего человека с весом по рождению, способностям или общему мнению. Говорят, что Голицын везет с собой Тургенева здешнего для этой цели. Это будет смешно: он недавно был здесь шалопаем ассессорского чину, и это место не для него ни в каком отношении. Называют много подобных кандидатов; но в публике говорят, что министр внутренних дел верно сделает хороший выбор для Москвы. Также охотится сюда и имеет партизанов, потому что богат, Храповицкий, нижегородский губернатор. Многие называют Небольсина, нашего вице-губернатора. Способности его, может быть, и не отличны, но он человек честный, добрый, благородный, и никто теперешнюю его службу не опорочивает. Ты можешь это все передать Арсению Андреевичу для его извещения. Тесть, зная мою дружбу с Закревским, все меня мучает добиваться; но он знает, что я это место отказал еще при Тормасове, а теперь еще менее оное желаю.

Я читал у Софьи Александровны [Волковой] с восхищением письмо Сашки [А.А.Волкова] к ней с твоей припискою о приеме, сделанном ему царем. Это производит в городе большое впечатление; хлыщ Шульгин [московский обер-полицмейстер] вытаращит глаза. Говорят, будто после отъезда Волкова он сказал: «Ну вот и начальник жандармов уехал, но Москва не погибла из-за этого, все в ней благополучно!» Вот уж дурацкая ирония! Насколько отношение к нему Волкова справедливее, откровеннее, благороднее!

Александр. Москва, 16 января 1829 года

Благодарю тебя за старания твои, верю и благорасположению графа [Нессельроде]. За что, кажется, ему меня не любить? Ежели и не за меня, то за то, что я брат тебе, а тебя довольно имел он случаев испытать. Из двух предложений графа (несмотря на Полетикино мнение, которое, однако же, ценю, зная и ум его, и любовь к нам) одно вовсе не уместно. Нет, брат, в эти края пусть посылают плутов. Я не говорю уже о климате, который уничтожил бы последнее здоровье моей жены, не говорю о недостатке в образовании детей, о подъеме и проч., чем же это вознаграждается? Консульством! Званием, на которое Пфеллер претендует. Я до приезда Татищева и в болезнь Карпова был поверенным в делах и получал одобрительные письма от

канцлера графа Воронцова; когда Полетика отошел к Лассию, то я один все делал у Татищева, который не дурак. Это все было в 1804 году, то есть 25 лет назад. Ужели я ничему не научился с тех пор? Впрочем, это все равно, ибо по обстоятельствам я бы отказал место и графа Стальберга не в Яссах, а в земном раю, в том же Неаполе.

Граф говорит о 30 тысячах оклада, да что пользы? Их должно проживать или погребсти себя в Яссах на 20 лет, чтобы накопить что-нибудь честно. Точно так же проживал бы я 7 тысяч, большой императорский оклад в Неаполе, да еще бы и мало было этого. Мне лучше этого предлагали, ты сам знаешь. «Поедьте, любезный друг, – говорил мне Воронцов, – поедьте со мною, возьмитесь за Бессарабию; я на все пойду, чтобы добиться для вас 20, даже 30 тысяч рублей оклада; только поедьте, сделайте эту жертву, попробуйте годик, и ежели вам будет хорошо, выпишете все семейство, попробуйте...» Так лучше было бы мне принять тогда, и я почти раскаиваюсь, что не решился. Служа с ревностью, преданностью, чего бы не получил я с таким редким начальником, каков Воронцов!

Теперь приступим к другой статье. Граф предлагает мне сенаторство. Кого бы это не польстило? Из двадцати человек восемнадцать тотчас бы приняли с благодарностью, восхищением. Сколько есть таких, которые из кожи лезут, чтобы достигнуть такой чести? Я видел, как лицо моей жены, лицо Фавста расцветали при мысли о красной мантии. Солгу, если не признаюсь, что и моя первая мысль была та же; но рассудок, опыт, потребность в зрелом размышлении, занявшем ночь целую, заставили меня переменить мнение. Я уже не в возрасте иллюзий, никогда не был честолюбив, а любовь моя к семейству помешает мне постоянно предпочитать дым жаркому. Так что друзья мои Полетика и Волков ошиблись оба, рассчитывая на мое согласие. Мой истинный друг, мой друг сердечный, ты, мой милый, даже ты меня осудил! Поговорим же об этом.

Быть тем, что я есть, с 3000 рублей или сенатором с теми же 2000 рублей – есть ли тут что взвешивать? Я независим, почти начальник, я устраиваю летом свои отлучки, пребывание в деревне, поскольку это мне нравится; я предаюсь занятиям, сообразным моему вкусу, почти не обременен ответственностью, еще менее – беспокойствами; что мне до того, отношусь ли я к 4-му или к 3-му классу, ношу ли или не ношу ленты? И разве не имел бы я всего того же и в Архиве, поскольку какой-то Охлопков награжден тем же? Мало ли сенаторов без ленты, кои без оной и умрут. Теперь, положим, я сенатор: много наделает это шуму, меня задушат поздравлениями, многие порадуются, а еще больше позавидуют. Только и речи будет в Москве, что обо мне. Каков шаг! «Зять молодой стал наряду со стариком-тестем», – скажет один. Другой: «Ну, это хорошо! Булгаков – малый добрый, честный, способный, захочет заниматься, не испортит и в Сенате». Третий: «Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит! Думал ли Булгаков быть сенатором когда-нибудь?» – «Да почему же нет?» – «Да не его дело; ну пошли его куда-нибудь министром, вот так, а сенатором быть – совсем другое дело», – и проч.

Начнется тем, что весь оклад первого года (ибо мне все-таки приходится ныне рубль всякий считать) пойдет на простой и богатый мундиры, на покупку нужных законодательных сочинений; всякое утро должен я работать, как на цепи, а остаток дня читать записки в четверть аршина толщины, принимать посетителей, ссориться, спорить с товарищами; а тут вдруг тебя пошлют ревизовать, то есть делать несчастных и заслуживать нарекания, а между тем проживать в поездке деньги. Есть ли должность несчастнее сенаторской? В пословицу вошло их хулить. Нагляделся я на них и у вас, и здесь. Доброго называют простяком, дураком, твердого – упрямым, справедливого – строгим и так далее, и в итоге сенаторство – почетный гроб, не что иное. Тогда прощай для меня, отрадное мое житье в Семердине, которое и здоровье мое, и карман поправляет. Я очень благодарен графу Нессельроде, но все-таки не понимаю, чтобы легче было для него выпросить мне чин, сенаторство, сохранение архивского оклада и ожидание места Малиновского, нежели выпросить просто 3000 рублей столовых. Это не имеет никакой связи со штатами, это милость особенная, как крест, перстень и проч.; ведь дали же

Чижику [князю Сергею Ивановичу Голицыну] столовые за несколько лет службы. Граф говорит, что теперь военное время и велено беречь деньги; но почему же его устройство берегает больше, нежели мое? Ежели дадут мне архивский оклад и сенаторский, это составит 6000 рублей и чуть ли не 7000; ибо не знаю, четыре ли или три тысячи рублей имеют сенаторы жалованья; дав мне 3000 рублей столовых, казна то же самое выдаст, да еще и тысячью рублями менее, это раз; кроме того, что надобно же в Архив водовозную лошадь вместо меня. Ежели выбуду, некому будет подписывать и рапорты в Коллегию, и исходящие бумаги: секретари скрепляют только, а Малиновский, яко сенатор, ничего не хотел никогда подписывать. Вот и лишний еще расход для Коллегии, то есть назначение другого на мое место.

Вот сколько неудобств и расходов. Помилуйте! Да за 32 года службы даются при отставке пенсии; так как отказать столовые, то есть харчи тому, кто не в отставку идет, а желает еще служить и быть полезным? Я уверен, что ежели бы приличие позволяло и уважение к графу не воспрещало, то письмо от меня на высочайшее имя прямо имело бы полный успех. Граф никого в Коллегии не обидит и не обойдет много. Пример, что лета не препятствие для получения пенсионера и без отставки: ты получил пенсию за Венский конгресс; конечно, это казус чрезвычайный, но и 32 года службы не столь обыкновенная вещь. Мы, я чаю, были с самим графом Нессельроде в одно время секретарями посольства: он – в Париже, а я – в Неаполе. Пенсии подвержены спорам, изменениям, как и с тобой было; а потому лучше столовые.

Ежели граф не может этого сделать то я ничего не хочу и буду ждать, чтобы Малиновского сделали членом совета. Граф его не любит – верю. А кто ему выпросил Владимирскую звезду? Он! Меня граф очень любит, и этому верю, а не хочет быть справедливым ко мне. Нет, брат, кого любит, для тех делает: Родофиникин, Сверчков, Гурьев шагали и шагают. Я посмотрю еще год, не выйдут ли штаты? Как примет это Малиновский, который ясно мне сказал: «я вам место очищу, я вижу, что меня теснят», и проч., и тогда лучше убраться совсем. Если остаюсь в Архиве, все думают, что я тут как бы на карауле, ожидая какое-нибудь вицерайство; а как буду свободен, то я уверен, что множество получу предложений. Первый Бенкендорф взял с меня слово, что извещу его, ежели буду свободен: «Будьте уверены, что получите место весьма почетное, выдающееся и с большим окладом». Признаюсь, что сердце мое все лежит к Коллегии: батюшка всю жизнь, да и я, как себя помню, все тут служу. Честолюбие – не мой порок: быть начальником Архива с хорошим окладом – вот все, чего желаю. Как не выкурить этого... ежели бы граф серьезно захотел? На все определение, на все Бог; буди Его воля! Я тебе сказал все, что имел на душе. Устал даже, писавши: перо валится из рук. Ты можешь из моих слов не делать никакого употребления, ибо без твоего совета я ни на что не решусь. Время терпит, ты можешь обдумывать и написать мне, что думаешь о моих возражениях. О тайне нечего и говорить. Только мне жаль, что ты сказал Волкову; он молчать не большой мастер, напишет жене своей, та станет шутить или рассказывать; так я невиноват буду в случае разглашения. Фавст во многом со мной согласен и хотел тебе сам писать, рекомендовал осторожность, уверяя, что Рушковский читает все письма, особенно твои и мои. А мне какое дело? Мои письма к тебе и ко всем, пожалуй, хоть печатай в газетах. Я не запрусь от них. Интриг не люблю и ими никогда ничего не добывал.

Александр. Москва, 28 января 1829 года

Вчера много сговорилось приятелей меня навестить, так что играли в два стола: бостон для князя Якова Ивановича [Лобанова], да мушка. Это в нашем доме происшествие редкое. Были Лобановы, дядя и племянник, двое Хрущовых, Фавст, Нарышкин с женой, Раевский (некогда известный под именем Зефира, а теперь старый сморчок сделался), тесть, Кобылинский, Попандопулы, он и она, да Обрескова. Вечер провели очень приятно; за ужином пили все по движению души за здоровье Волкова. Ведь и это весело, что никто ему не завидует, а все только благословляют государя, прибавляя: ведь у Волкова куча детей! Только и разговору

было вчера, что о Сашке. Я знаю, что милость эта была обещана еще покойным государем при князе Дмитрие Владимировиче Голицыне; ежели этот тут поспособствовал со своей стороны, то честь и слава ему.

Александр. Москва, 2 февраля 1829 года

Привезли тело Николая Никитича Демидова, которое везут с большой помпой. Покойный хотел, чтобы его положили с женой [Елизаветой Александровной, урожд. баронессой Строгановой (ум. 1818)] в Париже, а ежели нельзя, то завещал положить себя в Сибири. Видно, и мертвый хотел лежать между золотыми рудами. Нарышкины, кои ему родня по Строгановым, были у панихиды здесь и тело повезли уже далее. Везут же это тело в ужасной четырехместной карете, сделанной для этого нарочно во Флоренции, ибо гроб свинцовый, и весу в нем сто пудов. На всякой станции служат панихиду, а где есть церковь, так дают вклад за упокой. Любопытство москвитян так велико, что иные ездили за заставу догонять Николая Никитича, чтобы видеть страшную и огромную эту карету. Сына Павла ожидают также сюда на днях.

Итак, Дибич будет командовать? Давно уже это говорили здесь. Бог хочет, чтобы с его ростом [Иван Иванович Дибич был малого роста] он и делать умел то же, что и маленький капрал. Киселев избавится от весьма хлопотливой должности, и ему, верно, приятнее будет служить в поле.

Нарышкин рассказывал, что тело Демидова встретили архимандрит и более сорока попов; 60 дней будет оно ехать до места.

Александр. Москва, 6 февраля 1829 года

Спасибо доброму Энгельгардту, часто меня навещает. Завтра хотел приехать читать мне свои «Записки» и узнать мнение мое. Он долго служил при князе Потемкине и многое видел, а я люблю смертельно рассказы екатерининских старичков.

Александр. Москва, 8 февраля 1829 года

Нового только, что старуха Глебова Елизавета Петровна, штатс-дама, умирает. Женщина богомольная, церковь в доме, а не могут ее склонить приобщиться; ездили уговаривать и викарный, и князь Сергей Михайлович Голицын: не хочет, да и только. Объялась и теперь все в засыплении, духовной не делает; а умрет без оной, так внушки ее любимые останутся при ста душах. Ох, эти старики упрямые!

Александр. Москва, 16 февраля 1829 года

Я устал, и от чего? Дети заставили меня часа полтора играть на клавикордах русскую, а сами плясали и репетировали. Славно идет! Ох, жаль, что ты это не видишь, мой милый и любезный друг. Наташа писала особенно к Юсупову, послала ему билет и звала его на маскарад. Старик – опытный судия в таких вещах! Только как здесь бесстыдны! Вот тебе доказательство: записка от человека, который не ездит к нам, а прочит кучу билетов.

В Калуге, после 20-летнего паралича, скончался Юрий Александрович Нелединский. Умер, говорят, как сущий монах, исполняя долг христианина, в памяти и радуясь: «Иду соединиться с благодетельницей моей Марией Федоровною!» Сии были его последние слова. Дочь его, умиравшая от молочницы, вне опасности; это та, что замужем за Оболенским, калужским губернатором.

Александр. Москва, 18 февраля 1829 года

Вообрази, что бедная Аграфена Юрьевна Оболенская таки умерла вскоре после отца. Это скрывают от князя Якова Ивановича Лобанова, который очень был дружен с покойным

Юрием Александровичем, и сын его князь Алексей, отъезжающий завтра, просит, чтобы отцу это объявить после его отъезда.

Юсупов рассказывал тестю, что в отчаянии, что из-за траура по Литте [графине Екатерине Васильевне] не может быть к нам. Еще рассказывал он, что наместник княгиня Щербатова, урожденная Апраксина, чуть было не родила, бывши в гостях у Ланского, где всегда множество по понедельникам и четвергам.

Александр. Москва, 19 февраля 1829 года

С каким душевным удовольствием обнял я милого Волкова! Как приятно мне было с ним говорить о тебе, Косте и твоих, милый и любезный друг. Ночевал один раз, приехал он в трое суток: очень скоро! Я нашел его похудевшим и даже состарившимся; но это, верно, следствие болезни.

Всякий имеет критические, горькие эпохи. Это видел я над этим же Волковым, но он все перенес терпеливо, службу даже оставил, укрылся в деревне (а я не дошел до этого); там вдруг все переменилось, и так повезло, что только держись. Узнали ему цену. Знаю я холодный, трусливый нрав Нессельроде; это не Каподистрия: тот скорее кончит освобождение Греции, нежели наш граф выпросит должное награждение.

Александр. Москва, 21 февраля 1829 года

Мы – как армия или, вернее сказать, как главнокомандующий накануне сражения. Бедная моя жена так захлопоталась, что, право, боюсь, чтобы не слегла; я ее вчера положил спать насильно в 10 часов, а сам, хотя и нездоровый, поехал на всемирный бал, который Мотель [московский танцмейстер] дает всякий год для своих учениц. Он столько трудился и такие сделал, можно сказать, чудеса, что не мог я ему отказать повезти хотя Катеньку. Он же разбарабанил везде, что будет у него Булгакова, для первого своего выезда, прибавляя, что и красавица, и мастерица танцевать, и проч. Там была бездна, 500 человек, и хотя дом Кологривова на бульваре велик, с двумя залами, было тесно и жарко. Спасибо доброй княгине Меншиковой: она тотчас взяла Катю к себе и ухаживала за нею точно как мать, чем очень облегчила мои заботы. Признаться, порадовался я: Катенька, очень просто одетая, обращала глаза всех на себя, так что, право, было непристойно. Ты знаешь нашу публику. Многие дамы водили мимо Кати своих знакомых, крича и толкая их в бок: «Вот, вот она, в белом платье!» – а иные просто останавливались, смотрели в глаза. Я позволил Катеньке протанцевать только мазурку (в сем танце она особенно хороша), а то было кинулись ее ангажировать на целый вечер. Мы тотчас потихоньку уехали, а то Мотель бы не пустил. Билеты были по 5 рублей, сбор был для него изрядный. Меншикова сын просил его звать на наш маскарад. Мы очень рады этому милому гостю: преумница и преживой. Княгиня Кате сказала, что желает ездить к нам, что мужья дружны, надобно и женам познакомиться.

Очень радуюсь императорскому посещению в Горном корпусе. Для Карнеева должно быть очень лестно, что государь приехал неожиданно и, застав все врасплох, был всем так доволен. Я думаю об одном, мой милый друг: как бы не пожаловал государь вот так в почтамт! Наблюдайте! Конечно, нельзя требовать от вас той чистоты и исправности, как в других местах, ибо беспрестанно входит и выходит пеший народ, оставляющий следы нечистоты, но надобно наблюдать хотя за прочими частями. Все это лишние слова при твоей заботливости и попечении, но у меня это на сердце, надобно сдать тебе.

Александр. Москва, 22 февраля 1829 года

В городе очень ропщут на то, что полиция вывела наместника из французского театра русского купца за то только, что он с бородою. Неужели надобно ее выбрить, и ежели французский купец может быть в русском театре в своем костюме, отчего русскому купцу нельзя также в

своем костюме быть во французском театре, да еще и у себя в России? Купцы самому государю своему представляются в бороде. Графиня Потемкина прекрасно сказала полицмейстеру: «В другой раз посажу с собой в ложе купца в бороде и посмотрю, как полиция его прогонит». Шульгин, говорят, недоволен 3-м Владимиром.

Александр. Москва, 1 марта 1829 года

Обер-прокурор Лобанов вчера был у нас и сказывал, что Каменского (тобольского губернатора) таскают в Сенат на допросы. Лобанов говорит, что ежели и виноват Каменский [Дмитрий Николаевич], то самовластие его основывалось точно на усердии к службе и на рвении к пользам казны, а потому терпит он несоразмерно по вине своей.

Александр. Москва, 6 марта 1829 года

Приходил ко мне Сергей Николаевич Глинка, принес книгу своего сочинения: «Картина историческая и политическая Малой Греции с двенадцатью портретами». Она помещена при прекрасном письме графу Каподистрии, коего и портрет находится в заглавном листе. Это тот, что писал, помнишь, Соколов и с коего имел и я копию. Я поскорее дочитаю и к тебе доставлю, для пересылки к графу с верной оказией. И атенция эта, и само сочинение будут ему приятны, и, верно, переведена будет книга по-гречески. И я графу напишу.

Глинка сказывал, что он цензуровал последний номер Шаликова журнала, в коем есть препышное описание маскарада нашего и который он чрезвычайно расхвалил, особливо русскую пляску. Когда получу, доставлю тебе.

Александр. Москва, 7 марта 1829 года

Был у меня опять Глинка, который более часу болтал и рассеял меня. Принес сочиненные им для Катеньки слова: романс воина, отъезжающего за Дунай и там умирающего. Попрошу Глинку сделать музыку, и выучим Катеньку петь, а там Наташа хочет сочинить живой романс. Это будет прелестно. Обе сестры получают роли.

Меня уверяли, что пансион лицейский уничтожается. Каково же будет тому отцу, который, привезя детей из Сибири и отдав туда, рассчитывал, что он шесть лет может об них забыть, был покоен на их счет; а тут вдруг поезжай, возьми их да найди, куда девать?! И захочет ли государь без всякой причины уничтожить создание покойного государя?

Александр. Москва, 8 марта 1829 года

Участь пансиона лицейского решена: это заведение с 1 июля уничтожается. В первый раз Федор Андреевич Толстой не соврал, и надобно, чтоб было в столь для меня важном случае! Что будет с Костей, не знаю. Предаю судьбу его Богу и тебе. Говорят, заведение не имело счастья понравиться государю; но когда большие рекруты, даже преступники, исправляются, неужели нельзя было то же сделать с детьми? Все, что могло быть дурного, не от детей же, а от тех, кому они были вверены. Это-то и цель всякого учебного заведения – исправлять юношество. Прощай, надежда этой молодежи, надежда, спокойствие их родителей! Не одна мать здесь зарыдает. Можно было хоть довершить воспитание и образовать карьеру тех, кои тут, и постепенно уничтожить заведение. Но что мне тут умствовать? Видно, все это было нужно. Такой государь, как наш, знает, что делает.

Сию минуту был у меня Лев Алексеевич Яковлев, заехал из общего собрания своего, велел тебе кланяться, видя, что к тебе пишу; недолго посидел и уехал. И не хотелось, а рассмеялся я, видя страх моего тестя. Ему сказали, что хотели подорвать порохом Сенат. Я уверял, что вздор. – «Это точно, я вам говорю». – «Но ради Бога, вы можете быть полезны государству, господа сенаторы, но какая выгода этим злодеям в том, чтобы поджарить два десятка старичков?» Вышло, что перепутали в городе Москву с Петербургом: там была какая-то шалость с

намерением в смятении этом украсть шубы сенаторские; так до шуб добирались сенаторских, а не до сенаторов. Но мой дорогой тесть точно перепугался и уже считал себя государственной жертвой.

Дома довершить воспитание Костино не имею я средств, ибо сам Бог один знает, как живу: бьюсь как рыба об лед. Последнее отдал бы для его счастья, но где здесь заведения путные для молодежи? Нет их. Вспомнил я милостивые предложения великого князя Михаила Павловича. Но тогда надобно Костю посвятить военной службе. Право, не знаю сам, что делать. Ежели быть ему в гражданской службе (и чуть ли не лучше всего это), то, конечно, лучше всего в Иностранную коллегию, чем ему открывается путь в Архив; но долго ли отец его останется тут, – и это Бог знает. Божусь тебе, что есть минуты, в кои совершенная отставка мне кажется благополучием. Другому, честолюбивому, завистливому, было бы это гробом, а для меня – совершенным спокойствием. Мне не определены судьбою никакие успехи. Бог меня наградил другими дарами, так стану же ими наслаждаться. Общество была моя отрада; я чувствую, что оно меня не веселит, нрав мой переменился. Жена говорит: «Это следствие твоей болезни». Быть может, но с годами и жизнью и мы переменяемся. Странно, что Фавст, который часто мне докучал своими оханиями, теперь для меня приятнейшее общество. Это истинный друг наш, все та же чистая, добрая душа. Не знаю, чего бы он для нас не сделал.

Скажи Полетике, что я очень рад, что мог так скоро выполнить комиссию его. В особенной посылке препровождаю к тебе для него недостающие номера «Телеграфа». Спасибо Глинке, и он мне помог. Он очень старался, узнав, что это для его товарища школьного. «Не думал я тогда, – говорит Глинка, – что из этого тупого, упрямого кадета выйдет со временем человек государственный».

Александр. Москва, 11 марта 1829 года

Приехал добрый старик князь Урусов, поговорили мы о делах нашего Благородного собрания. Мы так оскудели, что не можем более 500 рублей откладывать на всякий концерт; однако же надобно будет Меласшу иметь. Мы сделали всеподданнейший доклад государю, прося помощи и описывая нужды Собрания. Ежели государь пожалует хоть тысяч по десять в год за свой и императрицын билеты, то заведение это славное хоть не рушится, а, право бы, жаль! Покойный император пожаловал 150 тысяч, но это после пожара 1812 года. Мысль прибегнуть к государю дана была Волконским; много баллотировали, но после все согласились. Положим, что Собрание упадет, то есть закроется навсегда, тогда скажут: да зачем же вы в этой крайности не прибегли к монаршим щедротам?

Урусов рассказывал милый сюрприз, сделанный государем его дочери Софье. Может, ты и не знаешь? Она одевалась ехать фигурировать с сестрою в живых картинах у Сенявина молодого. Императрица велела ей сказать: «Когда будешь одета, приди ко мне показаться», – что княжна и исполнила. Государыня стала надевать на нее свои жемчуга; приносят записку от императора. Императрица прочла, засмеялась, не говоря ничего. Княжна говорит, что начало в 8 часов, а в половину девятого просит позволения ехать. «Подождите минуту». Вдруг отворяются двери, входит император, а с его величеством – молодой Михайло Урусов, адъютант Киселева, только что приехавший курьером из армии с известием о взятии Тырнова. Вообрази себе радость, удивление княжны; она остоленела, а государь сказал, смеясь: «Признайтесь, княжна, что сия живая картина лучше той, к коей вы готовились!» Старик-отец рассказывал нам это со слезами на глазах; да кого не тронут подобные черты, да и от кого? От государя своего! Это доказывает душу его: кто любит радовать других, у того сердце доброе, ангельское.

Спроси у себя в газетной № 11 Шаликова «Дамского журнала»; там найдешь ты описание нашего маскарада, только я не нахожу его удовлетворительным: он не входил в подробности кадрили и бегло все описал; видно, не имел всех сведений, а спросить у нас посоветился, ибо полагал статьей своею сделать нам приятный сюрприз. Волкову он забыл включить, а вместо

нее написал Ланскую, которая и не была совсем в кадрили. Говорят, что будет и в «Телеграфе» описание. Увидим!

Ты знаешь Вигеля Филиппа Филипповича, бывшего бессарабского вице-губернатора, керченского градоначальника; он и губернаторскую должность правил долго в Бессарабии. Устроив здесь свои дела, он желает опять служить. Он малый умный, образованный. Он говорит, что ежели назначат его не в отдаленную губернию, а где-нибудь около Москвы, то пойдет в губернаторы. Мне кажется, что это бы хорошее приобретение для службы. Намекни Закревскому, – что он тебе скажет? Я было хотел писать прямо ему, но ты говоришь, что он, бедный, сидит в шпанской мухе по-нашему, так теперь не время ему письмами докучать. Я уверен, что и Воронцов не откажется также быть ходатаем у Закревского за своего бывшего подчиненного.

Александр. Москва, 12 марта 1829 года

У меня просидел очень долго Энгельгардт Лев Николаевич и читал мне свои «Записки», в коих есть любопытные анекдоты о Екатерине, Потемкине и многих других важных лицах ее царствования. Так заслушался, что не догадался, что два часа; да и старик, видя, что слушаю охотно, не устал от чтения.

Александр. Москва, 14 марта 1829 года

Был у меня Зандрарт. Мамонов говел и допущен был до причастия; но я признаюсь тебе, что не одобряю, что в столь важном святом обряде оказали ему неуместное снисхождение. Он всегда настаивал на царской церемонии, и ежели духовник согласился на это, то очень дурно сделал, что не поступил, как в прочие прошедшие годы. Князь Цицианов бывает у графа, этот ладит с ним покуда. Князь уверен, что больной выздоровеет, в чем очень ошибается. Однако же Мамонов не называет и не признает его князем, обходится с ним хорошо, но все-таки как с управляющим. Цицианов скоро мнение свое переменит. Жаль, что не может он объясняться ни с обоими докторами, ни с Зандрартом; впрочем, кажется, он не намерен графине потворствовать. Она писала ему, что Зандрарт не останется, что она приискала другого на его место. Цицианов ей отвечал, что ничего не переменит, покуда видит, что все идет как должно и порядочно. Я все одно твержу, что Зандрарта другого не найдут нигде и что не только 5000 рублей, но 20 000 рублей можно бы давать в год, чтобы сохранить такого бдительного, честного, человеколюбивого надсмотрщика.

Александр. Москва, 15 марта 1829 года

Глинка был опять, рассказывал подробно о победе своей над своими университетскими гонителями и врагами, особенно над Каченовским, который хотел погубить Глинку, предав его уголовному суду за выпущение из цензуры в «Телеграфе» пасквиля на Каченовского, уличая его в подкуплении и проч. Блудов и Ливен потребовали все бумаги к себе и совершенно оправдали Глинку и обвинили Каченовского с братией. «Что мне делать, – спрашивает Глинка, – как поступить с Каченовским? Дайте совет». – «А вот мой совет: поезжайте к Каченовскому, скажите ему: вы хотели меня погубить и не могли, я могу вас погубить и не хочу». – «Славно! Именно так и сделаю». Большой чудак!

Александр. Москва, 21 марта 1829 года

Нет иного разговора в Москве, как о тегеранском происшествии [речь идет об убийстве в Тегеране А.С.Грибоедова и почти всего состава русского посольства], которое возвещает уже и «Санкт-Петербургская газета». Что-то Нессельроде? То-то, я думаю, перепугался. На что иметь министров у таких скотов, как персияне или турки, не знающие ни прав народных, ни привилегий? Консула бы достаточно или и вице–а еще лучше проконсула. Такие происшествия должно ожидать всегда от таких народов. Государь наш премудр, знает, что делать. А право,

русская честь требовала бы, чтобы Аббас их явился в Царское Село, как некогда дож генуэзский явился в Версалию с повинной головою. Иные видят тут измену в самом шахе. Глупо это думать, но все ему надобно поплатиться, и пусть Европа узнает, что жизнь русского министра значит что-нибудь. Не поверишь, какой составили из этого роман, с какими нелепыми подробностями. Волков приезжал у меня спрашивать, что знаю, и очень удивился, что ты не пишешь об этом. Я ему сказал: «Ты знаешь брата, он любит давать положительные сведения, а таковых, видно, нет еще, но вот что говорит “Санкт-Петербургская газета”». У многих не выбьешь из головы, что должна быть война с шахом. Всякий судит по-своему, но все очень поражены происшествием сим трагическим.

Вчера провели мы очень приятно вечер дома. Давно к нам просится поэт Пушкин в дом; я болезнью отговаривался, теперь он напал на Вигеля, чтобы непременно его в дом ввести. Я видал его всегда очень угрюмым у Вяземского, где он как дома, а вчера был очень любезен, ужинал и пробыл до двух часов. Восхищался детьми и пением Кати, которая пела ему два его стихотворения, положенные на музыку Геништою и Титовым. Он едет в армию Паскевича, чтобы узнать ужасы войны, послужить волонтером, может, и воспеть все это. «Ах! Не ездите, – сказала ему Катя, – там убили Грибоедова». – «Будьте покойны, сударыня: неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичей? Будет и одного!» Но Лелька ему сделала комплимент хоть куда: «Байрон поехал в Грецию и там умер. Не ездите в Персию, довольно вам и одного сходства с Байроном». Какова курноска! Пушкина поразило это рассуждение. Ему очень понравилось, что дети, да и мы вообще все, говорили более по-русски, то есть как всегда. Были тут еще Вигель и наш архивный князь Платон Мещерский. Наташа все твердила ему, чтобы избрал большой героический отечественный сюжет и написал бы что-нибудь достойное его пера; но Пушкин уверял, что никогда не напишет эпической поэмы. Может быть, это случится со временем. Вигель сегодня едет в Петербург, я дал ему письмо к Закревскому.

Александр. Москва, 22 марта 1829 года

Приехал добрый, умный старик, князь Ханджери, живет в Немецкой слободе; совестно не принять. Советовался об сыне, у нас служащем. Насмешил меня: говоря о турецкой войне, спрашивал, не едет ли туда опять государь. «Кажется нет, князь! Надобно его величеству воротиться туда с мечом в одной руке и с оливковой ветвью в другой», – сказал я, прервав речь. «С палкою, ваше превосходительство, с палкою, с палкою, – повторил старик раз десять. – Знаю я этот народ, ему надобна палка, палка! Других европейских аргументов он не понимает. Ваш батюшка знавал турок; палка надобна, палка, ваше превосходительство!» Мы совсем распустились, и последнее его слово, войдя в переднюю, до коей я его проводил, было: «Турок – палкою!» А я думаю, что это не худо и с персиянами.

Александр. Москва, 25 марта 1829 года

Не успел заехать к Брокеру, который вдруг занемог. Говорит Метакса, что он очень слаб. Это ростопчинское дело много ему огорчения доставляет. Спасибо Волкову: он через Бенкендорфа заставил объяснить дело министру юстиции, который оное препоручил особенно обер-прокурору князю Лобанову, а этот взял сторону Брокера против решения 7-го департамента. Теперь противная сторона ищет мировой, на которую и Брокер очень согласен.

Александр. Москва, 27 марта 1829 года

Государь едет короноваться в Варшаву. Как же покойный император не короновался? Кто же будет короновать – католический или греческий митрополит? Не верю что-то, однако же отсюда требуются все императорские регалии из Оружейной палаты⁴⁴.

⁴⁴ Коронация действительно происходила в Варшаве; на принадлежностях коронования (специально изготовленных и

Москва, 30 марта 1829 года Я очень с тобой согласен насчет Пушкина: кто не ужился с Воронцовым, тот, конечно, нехороший человек. К нам его привез Вигель. Пушкин едет на Кавказ.

Александр. Москва, 1 апреля 1829 года

Савельич живехонек и здоровехонек! Что с ним делается? Ежели моят его у вас, то, видно, долго ему жить, а знаешь ли, кто умер, и очень трагически? Останкинский учитель П.И.Иванов, служивший казначеем в канцелярии князя Дмитрия Владимировича. Между Москвой и Всесвятским нашли тело его, простреленное двумя пулями в самое сердце. Рука его от слишком большого заряда была раздроблена, равно как и курок. Попал в мерзкое общество, споили его, заставили играть и проиграть казенные деньги, иные говорят – 40 тысяч, другие – тысяч 10. Не находя средства выпутаться, он застрелился, оставляя в отчаянии и нищете жену и шестеро детей.

Александр. Москва, 3 апреля 1829 года

Жаль Байкова. Я не был знаком с ним, но знал его только по сходству его с Потоцким и по рассказам покойного умницы Мартынова; они оба были в китайском посольстве Головкина. Говорили, что он большой интриган. У Острой Браны не один русский смерть нашел во время виленского бунта. Помню моего тезку Александра Яковлевича Княжнина; бывало, все видались мы у Закревского. Этот давно уже ближе был к тому свету, нежели к здешнему.

Видно, наш Нессельроде расшибся: рауты дает нынче. Видно, совестно ему кажется такие чертоги держать под ключом.

Теперь беда отъезжающим: не знают, на чем, как ехать?

Был у меня и долго сидел Маркус. Он и Эвениус отказались от лечения Мамонова. Он меня просил именно тебе сообщить об их поступке и сказать тебе, что им пришлось просить уволить их от лечения, чтобы не отвечать за графа, что они могли отвечать за его здоровье, когда всем их предписаниям следовали, а когда князь Цицианов переменил многие порядки, ими заведенные, не токмо с ними не посоветовавшись, но даже и не предупредив о сем, они не могли более оставаться при таком положении. Цицианов утверждает, что Мамонов не сумасшедший, а Маркус ему доказывает противное, и напрасно. Я бы на его месте просил бы 100 тысяч награждения, ибо, стало быть, его стараниями пришел опять в ум человек, коего за три года надобно было связывать и который любимца своего Негри хотел убить обломком стула. Что граф вообще очень тих, что имеет обыкновенно спокойные промежутки, в кои разговаривает основательно, – это достоверно; но он помешан, как Бог свят. В это положение поставил его Маркус своей твердостью, хладнокровием и лекарствами, а Зандрарт – попечительным своим надзором. Освободи графа от сих уз, дай ему немного волю, – и увидят, чем кончится. Зандрарт тоже отходит. Дай Бог, чтобы я ошибся, но я ничего хорошего не предвижу.

Цицианов его тешит, теперь покупает дом графа Головкина. Давно ли купили ему дом Дурасова? Мамонов чертит, какие делать прибавления: «С одной стороны я хочу часовню, с другой – другую, чтоб поместить там мою библиотеку», – и проч. На что ему одному, сумасшедшему, дворец в 250 или 300 тысяч? Зандрарт должен быть уже ко мне; увидим, что этот скажет. Как бы ни было, ежели в графине есть родственнические кишки, то она много обязана медикам и Зандрарту за старания их около брата и за положение, в которое он ими поставлен. Впрочем, как они себе хотят; жаль мне только, что ты тут должен быть вмешан.

Александр. Москва, 4 апреля 1829 года

Волков не очень здоров, я вчера обедал у него. На досуге много мы с ним говорили, и я советовался с ним как с истинным моим и нашим другом, любезнейший брат. Во всем мы согласны оба, то есть, что я только теряю лучшие годы жизни моей, служа под начальником, каков граф. Люди, право, меня не стоящие, делают лет в десять целую карьеру, а я одиннадцатый год в своем чине, 12 лет, как имею 3-го Владимира; последнее награждение мое было Шульцево место с прибавкою милостыни 200 рублей к его окладам. Вот милости графские! Много ли найдет он в Коллегии чиновников, кои, начав в оной службу, продолжали оную 31 год непрерывно, все по Коллегии и с 1000 рублей оклада? Кажется, не был я в тягость казне. По пристрастию к мундиру нашему я отказывал все лестные предложения Тормасова, Воронцова, Бенкендорфа, князя Дмитрия Владимировича Голицына; этот, в восемь лет, более полудюжины вывел людей в мой чин из ассессоров и надворных советников. Что же я выиграл? Ничего! Я всегда молчу и всегда доволен; в 1812 году, попавшись в руки французам (оттого, что долг службы предпочел своей безопасности), избавился я чудом от смерти, но хвастал ли я этим, требовал ли что-нибудь? Нет, ничего и не получил. Мудрено ли, что забыли меня, а кричать и жаловаться – не в моем нраве. Дождаться штатов, кои третий год выходят, было бы тоже глупо; по проекту, Поленовым мне вверенному из уважения ко мне, место присутствующего только что не уничтожается. Малиновского – из управляющего тоже директором, а ему какое дело, когда, по новому штату, директору полагают 4000 рублей жалованья, тогда как управляющий имел только 2000 рублей? Волков говорит, что головой своей обещает мне место в 6000 рублей по крайней мере, ежели уйду из Коллегии. Я не хочу ничего торопить, мой любезный друг, а тебя предупреждаю, что не хочу более служить под начальством графа. Меня постоянно все окликают, упрекают в моем ничтожестве, и я начинаю краснеть за него. Давеча Лобанов мне также говорил: «Бога ради, что вы делаете в вашем Архиве, вы ведь можете претендовать на что-нибудь более блестящее».

Скажи мне, уместно ли будет мне написать к графу прямо, откровенно, что ежели находит он малейшее затруднение исходатайствовать мне столовые деньги, то чтобы позволил мне выйти в отставку для приискания другого места. Кто знает, меня ожидает, может быть, счастье не там, где я искал его 30 лет напрасно, но совсем в другом месте. А ежели граф, при отпуске, хочет сделать мне милость, то пусть отдаст мое место Лашкареву, – он добрый малый и желает поселиться в Москве, – тогда архивским не так будет больно со мной разлучиться, ибо я уверен, что им будет очень прискорбно остаться с Малиновским, коего никто не любит, и так все бегут вон.

Я совершенно без гроша; что буду делать, право, не знаю: бездна расходов к празднику, рублей 400 одним учителям, квартиры старая и новая, мелкие долги по дому.

Князь Дмитрий Владимирович приехал ночью. Иванов упек его 18 тысяч, да 14 тысяч казенных. Для князя это и неприятно, и убыточно. Ездил всякий день к Юрьеву и к Алябьеву, а потому запечатали их бумаги. Не знаю, основательно ли тут поступлено, да что узнаешь из бумаг? Иванов бывал и у меня несколько раз по делу своего журнала; дает ли это право меня стеснять так? Не так открываются вещи такие, но наша полиция молодец на такие случаи.

Александр. Москва, 6 апреля 1829 года

Боятся, что Иванов упек и деньги, кои присылались сюда для монумента на Куликовском поле; тогда было бы тысяч 70 всех. Я боялся за Шафонского [Шафонский управлял канцелярией генерал-губернатора князя Д.В.Голицына], но выходит, что князь Дмитрий Владимирович прямо мимо Шафонского давал ордера Иванову, коего знал, говорят, по кулисам. Иванов тоже содержал какую-то актрису.

Александр. Москва, 8 апреля 1829 года

Вчера у Бобринской князь Дмитрий Владимирович и все спрашивали о графе Кочубее, и я очень рад, что мог дать добрые вести о его здоровье; то же самое желаю и бедной Малиновской. Что бы ни было, больно! Одна дочь у них только, и все свое счастье и утешение в ней полагали.

Я знал поверхностно о государевом путешествии, благодарю тебя за подробности. Желаю душевно, чтобы в Варшаве какой-нибудь миллионный польский граф влюбился в нашу Урусову [она и вышла за князя Радзивилла] и женился на ней, но еще одно условие, чтобы сделал ее счастливою.

Ты говоришь о Филимонове как об издателе «Пчелы»; тут Выжигин-Булгарин. Я догадываюсь поэтому, что ты ошибся и что, верно, Ф. издатель «Бабочки», которая, верно, отлетит с ним в Архангельск.

Я был в субботу в акте Университетского пансиона. Вот тебе две брошюры. Очень было хорошо. Я обходил после с Курбатовым все заведение, видел постели, больницу, видел их обед, отведывал: все очень хорошо, сколько мог я заметить. Курбатов вызвался уже особенное иметь о Косте попечение. Речи говорили хорошо, каждая речь была сочинения ее оратора. Князь Дмитрий Владимирович, Иван Иванович Дмитриев и множество было посетителей.

Александр. Москва, 10 апреля 1829 года

По несчастью, история Иванова не была апрельской рыбою. Игравшие с ним открыты и взяты странным случаем. Они замечали, что Иванов пасмурен, и, видя его отчаяние от беспрепятственных проигрышей и зная, что князь Дмитрий Владимирович ожидается всякую минуту в Москву, боялись, чтобы Иванов не решился открыть ему душу и во всем покаяться; дабы это предупредить и сделать как-нибудь с Ивановым, один из игроков, Квашнин, ездил к Иванову раза четыре; но жена, зная его за негодного человека, все высылала сына говорить: «папеньки нет дома, не знаю, куда уехал, не знаю, когда воротится». Иванов тоже избегал Квашнина, думая, что он являлся требовать денег. Только на другой день совершается самоубийство. Квашнин, узнав об этом, в первую минуту жара или мучимый совестью, скачет ко вдове несчастной, находит ее в слезах, возле нее сын ее. Увидев его, Квашнин говорит: «Вот кто погубил вашего мужа, говоря все, что нет его дома; я был у вас четыре раза, мы хотели спасти вашего мужа». Слова сии были как лучом для вдовы; она их перенесла полиции; взяли за Квашнина; он объявил, что Иванов обыгран был каким-то Заворыгиным (это плац-адъютант, коего Веревкин заставил за игру выйти в отставку) и еще другими. Может быть, и отыщутся деньги, но уж Иванова не воскресят. Он оставил письмо к детям своим, в коем их умоляет избегать дурное общество и особенно игру, иметь всегда перед глазами несчастный пример отца их и проч.

Александр. Москва, 12 апреля 1829 года

Заезжал я вчера к Волкову и нашел его невеселым. Царь жалуется, да псарь не жалуется: дело его аренды стало в пень по милости Чернышева, тогда как Волков благодарил государя, сказав: «Теперь, государь, у меня будет большое подспорье для семьи, а мне ведь кормить 11 человек». Государь изволил засмеяться, а Волков только что не плачет. Молодой Долгоруков, сын вашего неминистра юстиции, женится на внучке графа Владимира Григорьевича Орлова, дочери Петра Львовича Давыдова. Ее очень хвалят во всех отношениях, она несколько горбата, но имеет 2000 негорбатых душ – кроме приданого, бриллиантов и всего того, что дадут дедушка и родные, а мы с батюшкой любим эти коклюшки.

Александр. Москва, 15 апреля 1829 года

Мы с Фавстом вчера пускались на некоторые необходимые визиты. Начали с военного генерал-губернатора.

Рушковский был у меня в 10 часов в большом параде; сказал, что от князя, который спит и велел просить всех в двенадцать часов. Мы так и сделали, нашли его очень веселого. Много он со мной говорил, даже и о политике, но не о сенаторе, однако же. «Так что же, послы едут в Константинополь, это приведет к миру?» – «Напротив, князь, ясно, что турки стараются только выиграть время. Вот увидите, как только послы прибудут в Константинополь, у рейс-эфенди будет один ответ: “Я послал курьера к султану и ожидаю приказаний его величества”». Новосильцев объяснил мне причину Князева удовольствия: он получил рескрипт, по коему велено ему прямо относиться к государю мимо министров, как он того желал. Понимаю, что такое изъятие из общего правила льстит Князеву самолюбию, но я заметил Новосильцеву, что это одно и то же: министры должны согласиться на полезное, а неуместное государь также откажет. Государю нельзя самому все дела разрешать и обрабатывать, следовательно, получив, станет отсылать по принадлежности. Теперь, когда не будет государя, надобно же относиться к министрам или к комитету их. Положим, что министры князю не доброжелательствовали (почему, впрочем?), теперь они натурально более озлобятся; что же выиграет князь и что выиграет служба? Много было толков у нас об этом, но где же все это писать!

Александр. Москва, 17 апреля 1829 года

Вчера пришла к нам мадам Алексеева. Отводит она нас с женой в сторону и дает читать письмо, кое получила от брата своего Вигеля, который у вас. Поступил он, между нами будь сказано, довольно безрассудно. Дашкову, с коим, кажется, он дружен, взбрело в голову жениться на Софье Соковниной⁴⁵. Он поручил сестре своей просить нас о поддержке. Какая же тогда нужда писать к сестре и доверять ей все эти сведения? Надобно было писать прямо к нам.

Ни молодая особа, ни дядя Дашкова не знают. Вигель говорит: «Ежели дело устроится, Дашков через две недели будет в Москву»; но мне кажется, что начинать надобно со знакомства, а уж после говорить о браке. Как я понимаю дело и знаю характеры обоих, Софья пойдет замуж только по любви и никогда не пойдет из расчета. Дядя – чудаковат, упрям, странный, иначе, верно, не сомневался бы отдать племянницу свою за такого славного человека, как Дашков. Несмотря на это, не компрометируя Дашкова, я почву исследую, поговорю с дядей. Посмотрим сначала, есть ли у него мысли, и какие, насчет Дашкова, ибо он одного себя превозносит в этом свете. Долгоруков, кажется, и хорош был жених, да и довольно нравился Софье Прокофьевне, да не состоялось, а все от дяди. Жаль мне будет, ежели Алексеева выболтает это. Ежели, паче чаяния, Дашков стал бы тебе говорить, то будешь знать, что отвечать. Ну и достаточно сего покамест.

Иван Петрович Носов, наш годовой часовщик, человек тихий, добрый, скромный и преискусный, едет в Петербург; я дал ему письмо к тебе. Он совершенная красная девушка, а едет он вот по какому случаю. Вызывают всех работавших в каком-нибудь роде для большой экспозиции в Петербурге по примеру, видно, экспозиции парижской; эта новость заводится Закревским. Носов изобрел славнейший хронометр, который желает также экспонировать; все часовщики признают это славностью, делающей честь русскому имени, но без протекции мудрено обойтись. Он просит, чтобы его только не оттерли, чтобы обратили внимание на труд его; пусть судят его строго, он этого не боится. Трудить не хочу я Закревского особым письмом.

Александр. Москва, 20 апреля 1829 года

Только что собрался я было ехать к Фавсту, является Похвиснев. «Поздравляю вас с милостью монаршею!» – «Что такое?» – «Вот вам письмо от братца». Я ушел к жене в спальню,

⁴⁵ Софья Прокофьевна, родная племянница жены А.Я.Булгакова, в детстве лишившись родителей, жила под опекою своего дяди Сергея Федоровича Соковнина, который позднее и выдал ее замуж за вдовца, графа Василия Алексеевича Бобринского; а Дмитрий Васильевич Дашков (министр юстиции) женился на Елизавете Васильевне Пашковой.

и тут мы покойно поплакали, читая письмо твое от 16-го. Ох, воскресил ты нас, бесценнейший брат! Ибо кому же, ежели не твоим неусыпным попечениям, обязаны мы милостью, которую получаем? Десять тысяч, кажется, небольшая сумма, но для нас это в теперешнее время великая подмога. Когда получу прибавку, графом обещанную, то буду истинно доволен, и граф увидит, стану ли когда-нибудь о себе просить. Мы в такой радости, что описать тебе не могу. Нашу нужду терпели и люди наши, нам преданные. Весь дом в волнении, а Наташа не перестает плакать и от радости, и от слабости. Бог тебе воздаст за радостный этот для нас день! Я не соображу ни одной мысли.

Александр. Москва, 21 апреля 1829 года

Ты отдашь справедливость моей рассудительности: пожалование красного кафтана надевало бы много шуму по Москве, пожалование десяти тысяч единовременно покажется весьма маловажной наградой для чиновника 4-го класса. Это так, но кто взглянет в мою шкуру, кто знает нужду мою, и кому захочу я ее открыть? Всякую малейшую пользу для моей семьи предпочту наружному вздорному блеску. Я сенатор в моих собственных глазах, ежели государю угодно было найти, что я достоин сего звания. Это внимание государя дороже мне всего. Я думаю, как Волков, что государь точно так же и 25 тысяч изволил бы пожаловать мне, как и 10 тысяч; но тут надо другого начальника, как граф Нессельроде, говори ты там что хочешь! Благодарнее души моей нет, я ценю то, что вымучил ты у вице-канцлера, благодарю его, но грешен: не лежит сердце к нему. Так ли делают добро? Десять тысяч будут для меня передышкой великою. Никогда государь не давал еще так кстати нуждающему, как этот раз. Поверь мне, что всякая сотня рублей станет ребром. У меня столько мелких долгов, что стыжусь их. Бедная моя жена (теперь можно тебе сказать) продала маленькие свои жемчуга и фермуар, подаренный ей покойной императрицей Елизаветой Алексеевной, чтобы купить четырехместную карету, без коей нельзя было никак обходиться; было ехать куда с детьми, так делалось все в два каравана: четверых не посадишь в двухместную карету. Десять тысяч не завалиются у нас, но это откроет нам кредит наперед.

Александр. Москва, 29 апреля 1829 года

Не удалось мне попасть на вчерашний славный спектакль, а только афишку достал. Из оной видел я, что Семенову именуют княгиней Гагариной и что «Ненависть к людям», комедию Коцебу, перевел Малиновский, не знающий ни слова по-немецки. Это ташеншпилерская штучка!

Бедная Софья Александровна Волкова вдруг занемогла. Очень она мучилась, и Сашка всю ночь был на ногах. Вчера ввели меня к ней; узнать ее нельзя, хотя и лучше. Она хотела меня видеть и просила написать ей письмо к Дибичу, только что в силах будет подписать: просит, чтобы отпустил Акинфиева к жене, которая лежит в Яссах отчаянно больна. Везу к ней сейчас письмо, а она тебя просит доставить оное как можно скорее к Дибичу, который, бывало, живал почти на хлебах у Волкова и называет Софью Александровну своей капитаншей и поднесь. Ежели, Боже сохрани, умрет Наталья Александровна, то останется дочь семи лет совершенно на Божью волю без отца и матери.

Понимаю, что тебе много хлопот теперь. Пусть благодать Божия сопровождает всюду государя и всю свиту! [Николай Павлович ехал тогда короноваться в Варшаву, с государыней и наследником. Вот и Энгельгардт пригодился, да не все ли репинские были и теперь еще полезны государю? Сколько хороших слуг доставил князь Николай Васильевич государству!]

Желаю, чтобы сладилось дело Дашкова, но сомневаюсь, зная Софью; ее претензии очень велики, и она не пойдет замуж по расчету, но я прошупаю тихонько почву и тебе о сем напишу.

У меня была подписка на праздник, который готовится для Гумбольдта⁴⁶; нечего делать, подписал и я. Человек сорок уже есть и до 3000 рублей собрано.

Александр. Москва, 30 апреля 1829 года

Я тебе говорил в свое время о бумаге, которую Волков просил меня написать; да не было ему все досугу прочесть ее вместе со мною. Сегодня велел сказать, что имеет утро свободное, чтобы я приехал, что будем одни. Ему очень понравилось, исправлю некоторые замечания его и перепишу набело, а там и тебе сделаю копию. Волков посылает это Бенкендорфу, который государю покажет. «Надобно ли вас назвать?» – спрашивает Волков. «Да почему же нет? Я не откажусь ни от чего, что написал, мои мнения и чувства не таковы, чтобы я их прятал». Я уже с Лобановым много толковал о необходимости опровергать то, что иностранные журналы врут насчет России. «Напишите о сем небольшую записку и передайте ее мне»; я начал было писать, но мысль родилась за мыслию, записка вышла поогромнее, Лобанов скоро уехал, и я не успел ее обработать. Странно, что Волков после мне начал говорить о том же точно и просил отдать ему мою записку, прибавляя: «Ежели и не состоится мысль, которую ты предлагаешь, то все-таки государь увидит, что ты человек благонамеренный и что умеешь хорошо обдумать и написать бумагу». Чтобы не подумал Нессельроде, что я хотел мимо него что-нибудь представить государю, то Волков напишет, что имел со мной разговор о вздорных слухах, разглашаемых по Москве, и, найдя многие мои мысли основательными, он меня убедил составить письменную заметку, получив которую, долгом считает сообщить Бенкендорфу, и проч.

Конечно, брат, 10 тысяч не суть важны, но меня это очень оживило: легче будет дышать нам теперь. Мы наняли шагах в ста от прежнего дому дом Киреевского на Арбате за 2000 рублей в год, дом застрахован; это также выгода для нас.

Александр. Москва, 3 мая 1829 года

Вчера была драка во французском театре. Все съехались; разумеется, многие отпустили кареты домой, пьеса долго не начиналась. Выходит актер и объявляет, что по причине незапного недомогания мадам Вальмон спектакля не будет; а вместо того узнали, что Монье – вероятно, пьяный, – расквасил рожу и подбил глаз бедной Вальмон и поколотил еще мадам Виржини. Полицмейстер Миллер и Иван Александрович Нарышкин ходили на сцену мирить, но нечего было делать: как же женщине с подбитым глазом явиться на публике, да еще такой красивой женщине, как мадам Вальмон! Хороши господа французы.

Благодарю тебя за вести ваши. Вот и Вигель с местом [директора Департамента иностранных исповеданий]. Я очень рад.

Александр. Москва, 8 мая 1829 года

Долго болтал я с Волковым. Меня теперь взяло раздумье. Он говорит, что велено одни самонужнейшие бумаги посылать в Варшаву и далее, а что прочие должны ожидать возвращения Бенкендорфа в Петербург; потом рассудил я, что во всяком случае записка моя не минует Нессельроде, который может подумать, что я хотел что-нибудь поднести государю мимо него, чего не было у меня в мыслях. Я сказал Волкову, что коли так, то уж я лучше перепишу и тебе pošлю прочесть и требовать твоего мнения. Он очень одобрил это, и я сам теперь уже рад этой остановке, ибо самый благонамеренный поступок может быть иначе истолкован начальником мнительным, каков граф наш. Я занялся этим вместо забавы. Нимало не дорожу трудом своим; ежели найдешь его достойным внимания, то можешь и графу послать, а не то оставь у себя сувениром.

⁴⁶ Александр Гумбольдт – немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. В 1829 году совершил большое путешествие по России.

Александр. Москва, 9 мая 1829 года

Вчера видел я приехавшего Лунина, который сказывал, что главная его отрада в Петербурге был твой дом. Он предлагал весьма полезную вещь, но, кажется, она не состоялась, и один только князь Петр Михайлович тотчас за нее взялся, уничтожив придворные конные заводы. Какая же тут могла быть выгода казне, ежели всякая лошадь для экипажей обходилась в 4000 рублей? Это ужасно! Что же армия должна стоять казне? Когда-нибудь да согласятся же с Луниным, как Васильчиков и Левашев согласились.

Благодарю за сведения о Гумбольдте. Вот и Лодера благодарность. И я, брат, довольно спорил об обеде этом. Почему же будет приятно Гумбольдту, который, может быть, и не объедало и не пьяница, сидеть три часа за скучным обедом с шестьюдесятью незнакомыми? Человек шесть будут около него, прочие его увидят только издали, а большая часть займется более обжорством, нежели самим Гумбольдтом. Не лучше ли бы на обратном его пути, ежели труды его увенчаются успехом, поднести ему медаль или маленький кабинет российских минералов?

Александр. Москва, 10 мая 1829 года

Тесть сказал мне, что дело Брокера хорошо повернуло в общем собрании, что все к нему пристали. Хочу тотчас ехать к Адаму Фомичу, его утешить и успокоить. Как! Человек трудится, устраивает все к пользе малолетнего, копит ему капиталы, а тут вдруг, вместо спасибо, велят Брокеру отвечать собственным именем за то, что эта полоумная Ростопчина говорит без всякого доказательства, что Брокер хлеб продал и присвоил себе деньги, тогда как Брокер представляет собственноручную расписку покойного графа в получении с него денег за проданный хлеб! Право, бесчеловечно. Князь Дмитрий Владимирович также поверил этому и теснил Брокера. Тесть имел с ним вчера большую схватку, спросив у него на вечере у Небольсина: «Что вы думаете о Булгакове, Александре Яковлевиче?» – «Что он добрый, умный, честный малый». – «Так спросите же его о делах сих: они ему известны». – «Да мне сказывал верный человек». – «Нет, вам сказывал мерзавец, лгун князь Масальский». Обер-полицмейстер стал тестя остерегать, что Масальский тут играет в другой комнате; но князь Василий Алексеевич прибавил: «Позовите его сюда, я ему скажу в глаза при вас, что он лжец и клеветник. Дай Бог вам, князь, самим управлять вашим именем так, как Брокер управляет именем малолетнего; а вы, не рассмотрев хорошенько, да гоните честного человека». Князь замялся и, видя, что, продолжая разговор, доведет его до неприятностей, переменял речь. Я был в другой комнате и слышал только шум. Жихарев пришел и пересказал мне, что было. Князь Дмитрий Владимирович подлинно поступил здесь очень легко; я рад, что правда взяла верх, и спешу ехать успокоить Брокера. Тесть мой любит кричать, но тут он поступил как истинный сенатор; только два, Озеров и Яковлев, не согласились, все прочие единогласно были за мнение тестя, то есть за Брокера.

Александр. Москва, 13 мая 1829 года

Какая у нас погода, Боже упаси! Северный ветер, дождь, холод, сырость. Мы весь дом сегодня топим, и только что в пору. Я получил письмо твое №114 и тотчас сообщил Чумаге о гильдейских повинностях, а Додеру – о выезде Гумбольдта. Верно, оба явятся благодарить, а последний ужасно засуетится; только теперь не успеть ему дать праздник, ежели Гумбольдт останется здесь дня два, но, вероятно, дурная погода долее его удержит в Москве. Какая темнота! Теперь полдень – и хоть свечей просить, дурно вижу, что пишу. Я все труню над женою, что будет землетрясение. Рано ты, брат, свой балкон открыл. Батюшка говаривал, что прежде 10 июня не надобно выставлять окон. Я держусь сего правила. Отчего у нас весною всегда много больных? Покажутся два ясных дня – ну выставлять рамы, ну одеваться по-летнему, ну

есть мороженое, ну жить по-летнему, и пойдут простуды, а я вчера встретил Фильда, так этот ехал в шубе медвежьей и персидской шапке. Мне это и смешно даже не показалось.

Александр. Москва, 14 мая 1829 года

Гумбольдт приехал сюда в воскресенье, и Фавст, по предписанию Егора Васильевича [Карнеева, который был директором Горного департамента], был у него в тот же день и нашел в нем весьма приятного, говорливого скорее француза, нежели немца. Он вчера обедал у Фишера. Сегодня хотел его звать к себе обедать, оно бы и кстати, ибо Гумбольдт в час смотрит Кремль, Оружейную, соборы и проч., тут бы и близко к Фавсту обедать. Завтра большой обед в Собрании для него же по подписке, а говорят, что послезавтра он отправляется уже в путь. Ежели буду сегодня с ним обедать, то завтра не пушусь на большой этот обед, который будет скучен и для Гумбольдта, и для гостей.

Александр. Москва, 15 мая 1829 года

Вчера Гумбольдт не мог обедать у Фавста. Ввечеру возили его в Большой театр смотреть балет новый. Я сегодня поеду на обед этот, а то иначе и не увижу Гумбольдта, который едет завтра. Наташа хотела было позвать его на вечер к нам, но, видно, придется отложить это до возвратного его пути из Сибири.

Много говорят о «Выжигине». Все читают, хвалят, бранят, критикуют, а автор между тем собирает денежки и печатает второе издание. Называют это русским Жильблазом, но каламбурист один на это сказал: «Лесаж всегда мудр [«мудрец» по-французски – «ле саж»], а Булгарин никогда мудр не будет».

Александр. Москва, 16 мая 1829 года

Вчерашний обед для Гумбольдта очень удался, было человек около шестидесяти. Я нарочно поехал пораньше, чтобы видеть всю процедуру, и, явясь в Собрание, нашел Лодера, ходящего в сильной задумчивости по маленькой зале. «Здравствуйте, господин Лодер!» – видя, что меня не узнает. «Ах, милый мой и почтеннейший господин Булгаков, – отвечает он мне, – умоляю вас, оставьте меня одного; я репетирую речь, с которой должен буду обратиться к г-ну Гумбольдту; она еще не вполне устроилась у меня в голове». Я оставил оратора и пошел кое с кем болтать. После трех часов приехал гость. У нас все любят пересолить: начали толковать, что надобно послать депутацию к Гумбольдту, чтобы препроводить его в Собрание. «Да вот уже имеется депутат», – говорю я Лодеру. «Кто же?» – «Да кучер г-на Гумбольдта, который, конечно же, сумеет препроводить его сюда». Все стали смеяться и говорить, что могли бы то же сделать и для прусского короля, ежели б оказал он честь принять приглашение на обед, и дело оставили.

По приезде Гумбольдта Лодер выступил ему навстречу и приветствовал его по-французски, очень славно, и, к нашему великому удивлению, кратко. Барон отвечал также очень славно, прибавив в конце: «Вдвойне счастлив за себя, ибо рупор столь для меня лестных чувств есть не кто иной, как мой старинный друг и первый мой наставник», – и проч. После сего все, следуя моему примеру, просили быть ему представлены. Он тотчас спросил о тебе. Потом водили его по всем залам, показывали монумент Екатерины II. После сел он возле Юсупова, и сделался кружок; он рассказывал об Америке, о Франции, Бразилии и проч. За столом сидел я почти против Гумбольдта, а потому и мог насладиться приятным его и разнообразным разговором. Он сидел между Юсуповым и князем Гагариным, ибо Оболянинов и Дмитриев не приехали по нездоровью. Обед был хорош, но мог бы за эту цену быть лучше. В свое время все встали и, по провозглашению Лодера, пили за здоровье императора и все дома царского, потом прусского короля. Тут подошел Маркус и говорил прекрасную речь на немецком языке (он обещал мне копию, и я тебе доставлю, а между тем вот латинская, которая была всем раздаваема во

время обеда), на которую Гумбольдт тотчас отвечал также по-немецки. Потом встал Лодер и предложил: «Господа, пьем за здоровье его превосходительства господина Гумбольдта!» Все закричали: «виват» и «ура!». Лодер просил, чтобы умолкли, и прибавил: «Да сумеет он нам разыскать на Урале то, что его гений сумел открыть на Чимборазо». Как выпили, то немного погодя Гумбольдт налил себе шампанского, встал и приветствовал всех прекрасной благодарной речью, в коей говорил о государе, о России, о путешествии своем, об усердии, которое употребит в разысканиях своих, делал похвалу Москве и нас всех благодарил, окончив примерно так: «Разве смогу я позабыть этот день, когда меня окружили столь нежными и редкими заботами и когда иностранцы обращались со мною так, как могли со мною обращаться только мои соотечественники или старинные и любящие друзья!» – и проч. Жаль, что не все эти речи писаны или печатаны, быв импровизированными. После обеда и кофея профессор Мудров произнес ему маленькую русскую речь или приветствие, Маркус приблизительно перевел ее наскоро, и Гумбольдт также отвечал и ему. Тут я, поговорив с ним еще с четверть часа и получив обещание, что на возвратном пути посетит мое семейство, уехал и полагаю, что более и не было ничего.

Рушковский подошел и спрашивал у Гумбольдта: «В котором часу надобно завтра прислать за вами лошадей?» – «Как, сударь, – сказал я нашему приятелю, – вместо того, чтобы стараться удержать здесь г-на Гумбольдта, вы хотите ускорить его отъезд?» Но Гумбольдт отвечал за Рушковского: «Вы очень любезны, говоря так, но коль скоро решено ехать, ничто так не мучительно, как встречать к тому препятствия, и ваш брат поступил со мною точно так же, как его коллега поступает здесь; лето в России столь коротко, надобно успеть им попользоваться; в сентябре месяце я должен быть уже здесь, в октябре – в Берлине, а в феврале – в Париже».

Мне очень полюбился Гумбольдт. Я ожидал видеть в нем немца-педанта, вместо того нашел любезного француза. Он сегодня в 9 часов отправился в путь.

Александр. Москва, 21 мая 1829 года

С радостным, счастливым для всего семейства нашего днем поздравляю тебя, мой милый и любезный брат! Точно как будто ты в Москве: беспрестанно приезжают лица тебя поздравлять, а кто не был сам, присылает поздравить или пишет записки. Когда чужие так принимают 21 мая, то поймешь ты, что происходит у нас в семье. Все мы тебя целуем и желаем тебе всех благ. Волков празднует тебя и нас зазвал обедать.

Очень будем мы рады Северину Потоцкому. Этот гораздо милее нашего Северина [отца известного посланника нашего в Мюнхене Дмитрия Петровича Северина] без Потоцкого, сенатора, у коего была недавно история в Английском клубе с князем Петром Михайловичем Долгоруковым, прозванным блудным сыном, который пана сенатора разругал только что не скверными словами; а этот поехал жаловаться князю Дмитрию Владимировичу, который советовал лучше замять историю. Чем Северину жаловаться, как школьнику, ему бы лучше опереться на законы клуба и требовать исключения Долгорукова, точно так же, как был прогнан князь Касаткин за грубости к старшине Щербачеву.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.